

КНИГИ, О КОТОРЫХ ГОВОРЯТ

ОШЕЛОМИТЕЛЬНО ►

Николас Монтемарано

Я И ОНА



исповедь человека,
который не переставал ждать

Николас Монтемарано
Я и Она. Исповедь человека,
который не переставал ждать
Серия «Книги, о которых говорят»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7061666

Николас Монтемарано. Я и Она. Исповедь человека, который не переставал ждать: Эксмо;

Москва; 2014

ISBN 978-5-699-61085-3

Оригинал: Nicholas Montemarano, "The Book of Why: A Novel"

Перевод:

Элеонора И. Мельник

Аннотация

После смерти жены известный писатель Эрик Ньюборн погружается в глубокую депрессию и становится отшельником в своем доме на острове Мартас-Винъярд. Каждый день он живет воспоминаниями об утраченной любви, пока однажды не попадает в аварию, после которой Эрик пробуждается с именем Глории Фостер на устах. Теперь смысл его жизни – найти эту таинственную Глорию. Вероятно, она – его единственный шанс исцелиться от глубокой душевной боли.

Содержание

Глава 1	8
* * *	15
* * *	17
Глава 2	21
* * *	25
* * *	28
* * *	32
* * *	39
* * *	41
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Николас Монтемарано

Я и Она. Исповедь человека, который не переставал ждать

Посвящается Николь Мишель

«Откровенные, эмоциональные, мудрые, пронзительные – реальные истории, собранные в этой серии, взволновали очень многих людей. Каждый найдет в них то, что ищет. Пищу для ума и лекарство для души, Отражение в героях самих себя. Возможность сопережить незнакомые и подчас невероятные ситуации. Подарите себе особенные мгновения – наедине с собой и «книгами, о которых говорят».

Кристина Елисеева, редактор серии

Это действительно книга о самопомощи.

Не думал, что она будет такой – но уж какая есть...

А еще это – ревизия прошлого, вопрос, исповедь, покаяние, любовное письмо.

Эта книга – для тебя, конечно, а теперь еще и для Глории Фостер, которая, может быть, читает ее, став старше – случайно натывается на нее в Интернете, или в букинистическом магазине в Филадельфии, или в Нью-Йорке, или в Сан-Франциско, открывает наугад страницу – и видит свое собственное имя. Может быть, ее это поражает, и она так и садится, где стояла, между книжных полок, и начинает читать. Может быть, она сунет книгу обратно на полку, хотя я в этом сомневаюсь: человеческое любопытство – штука слишком сильная. Желание знать. Ощущение, что мы слишком многого не знаем. Может быть, она рассказывает родителям – если ее родители еще живы; своему бойфренду – если у нее есть бойфренд; своему мужу – если она замужем.

Она может никому не сказать. Она может испугаться – и в этом, если уж так случится, я раскаиваюсь. Плюс один пункт к моему покаянному списку. Она может подумать: «Но я не помню тех мужчину и женщину, что ночевали у нас. И его собаку не помню. И ту большую бурю». Может быть, когда она прочтет написанное мною, воспоминания начнут к ней возвращаться. Она могла бы отмахнуться от них, выбросить из головы: то, что происходило в ее пять лет, больше не имеет никакого значения, а уж случившееся до ее рождения – даже если книга говорит правду – тем паче. Но – желание знать... Она может попытаться найти меня, начать искать мое имя в Интернете... Наверное, тогда, через двадцать лет после того, как я это пишу, любого человека можно будет найти, просто произнеся его имя мысленно. А может быть, это из области научной фантастики. Но она найдет меня, если захочет. Я буду по-прежнему жить, если доживу, на Мартас-Виньярд, в самом конце проселочной дороги, которая в дождь или снег превращается в непролазное болото. Она найдет меня, если ей так суждено.

И что тогда? Верит ли она мне? Спрашивает ли, почему я не рассказал ей раньше – почему именно *так*, в книге? Выспрашивает ли подробности о тебе – о том, что тебе нравилось и не нравилось, о твоих радостях и битвах? Да и нужно ли ей это? Просит чашку чая? Сидит на диване, уставившись на меня так, словно перебирает воспоминания, которые даже не может с уверенностью назвать своими собственными? Становится ли близким мне человеком, кем-то вроде дочери – а может быть, даже...

Нет. К тому времени ей будет двадцать семь. Женщина. Но сейчас она – девочка, и этот путь в моих мыслях закрыт.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАЗДНУЙТЕ ЖИЗНЬ», КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР, ФИНИКС, 1996

ЗДРАВСТВУЙТЕ И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Спасибо всем вам за то, что пришли.

Вы здесь по определенной причине.

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и спросите себя – по какой.

Чего вы хотели бы добиться сегодня? Что вы хотели бы изменить в своей жизни?

Может быть, вы запутались в долгах. Может быть, вы застряли на изматывающей, скучной работе. Может быть, вы выбрали для себя профессию, которая, как вы знаете, не имеет ничего общего с вашим истинным призванием. Может быть, ваш брак распадается. Может быть, между вами и вашими детьми или родителями возникло отчуждение. Может быть, вы сражаетесь с зависимостью или серьезной болезнью. Может быть, вы счастливы, но хотите быть еще счастливее.

Если любое из этих утверждений применимо к вам, вы пришли как раз туда, куда надо. В течение последующих двух часов вы можете вообще не двигаться; единственный сдвиг совершится внутри вас.

Вы обладаете творческой властью над своим собственным человеческим опытом. Вы обладаете способностью менять свою жизнь, пересматривать историю, которую рассказываете самим себе – сознательно или бессознательно – в течение многих лет, или написать историю совершенно новую. Эта трансформация начинается прямо сейчас, с вашей следующей мыслью. Сегодня здесь, в этом зале, не существует такой вещи, как прошлое. Фокусируясь на настоящем, распознавая свое «заученное» мышление и перепрограммируя свои ошибочные установки, вы создадите будущее без границ.

Запишите это и подчеркните: счастье – это внутренняя работа.

Давайте-ка я еще раз повторю: счастье – это внутренняя работа. Счастье не зависит от того, что делает кто-то другой. Оно не зависит от обстоятельств. «Если бы только произошло то-то, я был бы счастлив». «Если бы только случилось так-то, я был бы счастлив».

Больше никаких отговорок! Счастье – это внутренняя работа. Ваш разум – вот высший податель даров. Вам необходимо понять: мы живем в изобильной вселенной. Вселенная прислушивается к каждой вашей мысли. Вы постоянно посылаете во вселенную сигнал, и этот сигнал – эта волна энергии – всегда возвращается к вам. Всякий запрос бывает удовлетворен.

В этой вселенной нет случайностей – только законы, и незнание закона не освобождает от ответственности.

Поток энергии струится через все вещи, включая вас и меня; он не знает слова «нет». Закон притяжения – не меньший абсолют, чем законы физики и математики. Два плюс два всегда равно четырем; это верно повсюду во вселенной. Это нечто такое, в чем вы можете быть уверены, факт, на который вы можете рассчитывать. Так же обстоят дела и с законом притяжения: вы будете способны создавать свое будущее. Больше нет необходимости тревожиться: вы здесь главное лицо, вы

– сценарист, режиссер, редактор; последнее слово – за вами. Больше нет никакой необходимости ощущать себя жертвой; не существует никаких неподконтрольных вам обстоятельств. Это так же просто, как элементарная математика: если вы сосредоточиваете свое внимание на чем-то, чего желаете, тогда, согласно закону, оно должно прийти к вам. Просить, верить, принимать – вот три этапа, которые мы будем практиковать сегодня. Три этапа, три шага к тому, чтобы изменить вашу жизнь.

Шаг номер один: просить. Изменять ошибочные установки вашего разума. Перенаправлять ваши мысли. Фокусироваться на том, чего вы хотите.

Шаг номер два: верить. Жить так, как будто вы уже имеете то, чего хотите. Держаться за свою веру, что бы ни случилось. Рассчитывать на чудеса.

Шаг номер три: принимать. Допустить изобилие в свою жизнь. Не стоять на дороге у самого себя. Удалять препятствия со своего пути, в особенности – негативные мысли.

Ибо, поверьте мне, негативные мысли могут навредить вам. Неважно, какие они – сознательные или бессознательные. Наш мозг – это компьютер; мы программируем его постоянно, сознаем мы это или нет. Вы должны быть осторожны. Повторяющиеся мысли становятся доминантными мыслями. Доминантные мысли становятся ошибочными установками. Ошибочные установки становятся убеждениями. Устойчивые убеждения проявляются в реальности. Когда мысли и убеждения сознательны – это уже опасно; гораздо опаснее, если они бессознательны. Иногда мы осознаем подсознательные убеждения лишь тогда, когда они проявляют себя в нашей жизни. Вы можете говорить, что заслуживаете лучшей работы; вы можете говорить, что заслуживаете отдыха, которого так ждете; вы можете говорить, что заслуживаете здоровья, мира и счастья; вы можете верить, что вы в это верите, но берегитесь подсознания! Сознательный разум может говорить «да», в то время как бессознательное говорит «нет». Так что если вы не получите этой работы, если вы не дождетесь этого отпуска, если вы столкнетесь с серьезным медицинским диагнозом – это означает, что в самых глубоких, самых темных закоулках компьютера, спрятанного внутри вашего черепа, должно быть, никогда не было веры в то, что вы заслуживаете этой работы, или этого отпуска, или безупречно чистой истории болезни.

Позвольте мне внести ясность: разум постоянно занимается творчеством, хотим мы того или не хотим. Мы действительно получаем то, о чем думаем. Когда мы желаем – мы творим; когда мы тревожимся – мы творим. Ничто не может войти в нашу жизнь без приглашения. Некоторым людям не по себе от такой ответственности; но мы не могли бы избежать ее, даже если бы захотели. Больше некого винить – нет ни злосчастных поворотов судьбы, ни произволения Божьего, – все зависит от нас. Именно поэтому нам необходимо перепрограммировать свой разум с помощью позитивных мыслей; мы должны очистить свои файлы, просканировать свои жесткие диски на вирусы.

Просить, верить, принимать.

Если вы тратите много времени на размышления о том, как ужасна жизнь, тогда вселенная говорит: «Твоя воля для меня закон» – и посылает вам людей, обстоятельства и события, которые отражают ваше мышление. Если вы фокусируете свои мысли на радости и изобилии жизни, тогда вселенная говорит: «Вот, держи, еще больше радости и изобилия». Уверяю вас, все это – не моя выдумка. Я – всего лишь вестник. Я в это верю, я пытаюсь так жить, и я хочу, чтобы все об этом знали. Я хочу, чтобы вы имели все, чего желаете.

Алчность здесь ни при чем. Эгоизм здесь ни при чем. Речь не о том, чтобы думать о богатстве, а потом получить по почте чек на миллион долларов. Хотите больше денег? – отлично! Деньги – не такая уж плохая штука. Ваша бедность не сделает богаче ни единого человека. Ваша болезнь не сделает здоровее ни единого человека. Представьте себе такой способ мышления: «В мире так много бедных – и я тоже буду бедным. В мире так много больных – и мне тоже следует быть больным. В мире так много страдания – и я хотел бы помочь миру, страдая сам». Послушайте, ведь чем больше вы имеете, тем больше можете отдавать! У вселенной бездонные карманы. Изобилие задумано как воспроизводимый ресурс. Всего и всегда достаточно. Вы – отражение вселенной, а вселенная щедра; вселенная никогда не говорит «нет».

Глава 1

Случайности

Зима на Мартас-Винъярд, пять лет спустя.

Дерево во дворе, сучья которого отяжелели ото льда, клонится к дому. Ветки обламываются под собственным весом, разбиваются вдребезги о дорожку. Ветер раскачивает обледенелый гамак, пригибает к земле. Входная дверь примерзла наглухо.

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я в последний раз слышал ее пение, поэтому я ставлю свою любимую песню. Ее голос никогда не постареет, но это – небольшое утешение.

Что меняется – так это слушатель, которому теперь сорок два, длиннобородый, начинающий сидеть, чуть отяжелевший по сравнению с тем, каким он был когда-то, но все еще стройный по меркам большинства.

Ее музыка – это не все мое достояние. У меня есть еще фотографии и коробка с памятными сувенирами – письмами и безделушками, несколько свитеров, пара носков, ее любимые книги...

Еще у меня есть собака – длинношерстная немецкая овчарка. Когда-то овчарка принадлежала ей, потом – нам, теперь – мне, но я по-прежнему думаю о собаке как о *нашей собаке*. Месяц назад, в Валентинов день, ей исполнилось двенадцать лет.

«Здравствуй и прощай» – начало и конец любой истории, говорит мне припев. Слова, первое и последнее – ее ко мне и мои к ней. Если только не считать все те ежедневные моменты, когда я разговариваю с ней – иногда мысленно, но гораздо чаще вслух. Я могу себе это позволить. Теперь, живя в Чилмарке круглый год, я не так часто вижу с другими людьми. Каждые несколько месяцев – паром, затем долгая поездка в машине, чтобы повидаться с матерью в Квинсе. А в остальном моя жизнь одинока. Конечно, есть еще Ральф, которая вполне сойдет за компаньонку. Она каждое утро тычется в меня носом, будит и ждет, пока я скажу ей «здравствуй», именно этим словом я ее приветствую, а потом позволяю ей запрыгнуть на постель, но только передними лапами, и почесываю ее уши, пока она не застонет от удовольствия, а потом начинается день – так бывает ежедневно, и в этом есть некоторое утешение. Она переходит за мной из комнаты в комнату, но большую часть дня спит, подергивая лапами во сне, если только я не беру ее с собой в город или на пляж играть в апорт. Отправляясь на рынок, пешком или на машине, я надеваю бейсбольную кепку; не хочу, чтобы люди меня узнавали, хотя полагаю, что теперь уже вряд ли кто-то на это способен.

Могло бы показаться, что ты здесь и поешь, если бы я не знал так хорошо эту запись, каждую ее ноту, каждую паузу, каждое дыхание. Я внимательно прислушиваюсь, но она никогда не меняется. Я катаю теннисный мячик по полу, и Ральф снова приносит его мне. Держит игрушку в зубах, виляя хвостом. Когда я протягиваю руку, она отводит голову. Это игра, в которую мы играли с тех пор, как она была щенком. Я указываю себе на колени, она подходит ближе. Я снова указываю себе на колени, и она роняет мяч. Когда я пытаюсь прокатить мяч мимо нее, она разыгрывает вратаря и ловит его передними лапами, сжимает челюстями.

Так, хватит мяча; я хочу, чтобы она была рядом. Она ложится ко мне на колени, я закрываю глаза и глажу ее морду, почесываю живот, подношу ладонь поближе к пасти, чтобы ощутить ее учащенное дыхание – и ты могла бы быть в соседней комнате и петь.

Песня внезапно заканчивается. К этой тишине я никогда не бываю готов. Вот только сейчас я слышу чей-то голос, «здравствуйте», произнесенное какой-то женщиной, стук в дверь. Представить не могу, как кто-то сумел сюда взобраться. Не раз и не два, даже когда

погода была не в пример милосерднее сегодняшней, мне приходилось бросать машину на крутой проселочной дороге, ведущей к дому. Так случилось и в наш медовый месяц. Наши ботинки утонули в грязи по щиколотку, мы прошли остаток пути наверх босиком. Мне пришлось нести Ральф, которая была еще щенком, но вес уже набрала немалый, около шестнадцати килограммов. Тогда дом еще не был нашим, просто – домом, который мы снимали. Проведя в нем медовый месяц, мы стали заговаривать о том, как нам хотелось бы, чтобы он был наш собственный – и к следующему году он уже принадлежал нам. В те времена я мог бы сказать, что сделал это с помощью намерения: приколот фотографии дома к пробковой доске над своим письменным столом; заказал этикетки с его адресом; первого числа каждого месяца посылал на этот адрес письмо самому себе.

Прежде чем выглянуть в окно, задумываюсь: что я буду делать, если там никого нет, если у меня слуховые галлюцинации? Когда-то, еще мальчишкой, я боялся призраков, но последние пять лет я был бы рад встрече с ними. Сошел бы любой призрак, он дал бы мне некий ответ; но одного из них я приветствовал бы с особой радостью – не в обиду будь сказано остальным, включая моего отца. То есть, если они вообще существуют. Не уверен, что верю в призраков в буквальном смысле. В духов, фантазмы, привидения. Так-то я в них определенно верю, если иметь в виду под призраками то, что нас преследует, – воспоминания, чувства, сожаления.

Видя у своего порога настоящую женщину, я испытываю укол разочарования. Она кажется вполне телесной, из плоти и крови. Буквально, я вижу эту кровь: она течет у нее из носа и пачкает тряпку, которую женщина держит в руке. Другую руку она прижимает к животу, словно на перевязи, хотя лубка на ней нет. Я пугаюсь возможной грязной подставы – ограбления, мужчины, который пришел с ней и, возможно, прячется за моей обледенелой машиной, – но торопливо гоню прочь эти мысли, чтобы они не стали реальностью. Некоторые старые привычки никогда не умирают. Мне приходится трижды с силой бить плечом в дверь, прежде чем наледь поддается, а потом я знаками велю ей сделать шаг назад, чтобы дверь, которая открывается со следующим толчком, не травмировала ее еще больше.

Она высокая, почти такая же высокая, как и я сам, и у нее длинные рыжие волосы. Лицо одновременно и молодое, и старое: юношеские прыщики и «гусиные лапки». Созвездия веснушек на лбу и носу. Голубые глаза. Думаю, ей хорошо за тридцать, но при покупке вина ее до сих пор просят предъявить водительские права. **Ее лицо кажется мне знакомым, но, если уж на то пошло, мне все кажется знакомыми.** Она улыбается, но шмыгает носом. Не могу понять, плачет или смеется.

– Простите, что пришлось вас беспокоить, – говорит она. – Моя машина застряла внизу на дороге. И рука не шевелится. И нос... может быть, он сломан, не знаю.

– Входите, – говорю я и вижу, что она *в самом деле* плачет, но силится улыбнуться.

Подтаскиваю кухонный стул, и она садится, хотя видно, что ей неловко. Кажется, ее беспокоит кровь, капающая на пол.

– Пусть, не обращайтесь внимания, – говорю я.

– Я заблудилась, – говорит она.

Ральф подходит к ней, обнюхивает джинсы, ботинки, потом кладет голову ей на колени.

– Извини, дорогая, – говорит она. – У меня нет свободной руки, чтобы тебя погладить.

Я подаю ей полотенце и пытаюсь забрать окровавленную тряпку, но она не отдает; скатывает в комок и кладет на колени, и Ральф принимается его обнюхивать.

– Не уверен, что вам стоит запрокидывать голову, – говорю я ей. – Думаю, как и многое другое, чему нас учили, на самом деле это неправда.

– Боже, никак не останавливается! – восклицает она.

– Так с виду не скажешь, что нос сломан, – говорю я.

– Горбинка – моя собственная, – отвечает она. – Подарок отца.

Я отрываю кусок чистой ткани, скатываю в тампон, подаю ей.

– Попробуйте вставить это в ноздрю.

Она заталкивает ткань в нос, и глаза ее наливается слезами.

– А теперь зажмите переносицу – примерно посередине – и держите так.

Сжимая пальцы, она морщится.

– Не слишком сильно, – предупреждаю я.

Тампон насквозь пропитывается кровью. Я осторожно вытягиваю его, затем быстро сворачиваю чистую половину салфетки и вставляю в ее ноздрю.

– Меня зовут Сэм, – говорит она. – Сэм Лесли, – она протягивает мне левую руку, и я пожимаю ее. – Как странно, – замечает она, – здороваться *левой* рукой.

– Гарри, – представляюсь я.

– Мне очень жаль, что так получилось, – извиняется она.

– Это был несчастный случай?

– Я не верю в случай.

– Но что-то же случилось с вашей машиной.

– Потеряла управление, поднимаясь по холму, и врезалась в дерево. Но нос разбила уже потом – упала практически лицом в землю.

– Еще салфетка нужна?

– Не думаю. Слушайте, – говорит она, – как вы думаете, уже можно отпустить?

– Да, наверное, времени прошло достаточно.

Она отпускает переносицу, затем лезет в задний карман джинсов и вытаскивает из него клочок бумаги.

– Я тут пытаюсь найти кое-кого, – говорит она. – Вот адрес: Олд-Фарм-роуд, 95.

– Вы, должно быть, продрогли насквозь.

– Какой-то парень на рынке сказал мне, что нужно повернуть налево после шоколадного магазина. Дорога была – сплошной лед.

– Можно приготовить вам чай?

– Да, спасибо. А если у вас еще найдется лед, чтобы приложить к руке...

Формочки для льда пусты. Я выхожу во двор с ножом в руке и откалываю по кусочку от льдины, намерзшей внутри пустого цветочного горшка. Телефонные провода провисли до самой земли. Деревья сверкают в последних лучах дня – а ведь некоторые из них уже были готовы распустить почки. Я приношу Сэм несколько кусочков льда, завернутых в тряпку для мытья посуды.

Ральф валяется на спине, подставляя гостю живот.

– Вот теперь я могу с тобой поздороваться, – говорит Сэм, поглаживая собаку.

– Вы нравитесь Ральф. С другой стороны, ей все нравятся.

– Девочка – по кличке Ральф?..

– Сначала выбрали имя, а оказалось, что она – это она.

– Кажется, она не против.

– Я предложил бы вам воспользоваться своим телефоном, но линия не работает.

– Да и не знаю, кому бы я звонила.

– Как насчет того человека, которого вы ищете?

– Я с ним незнакома.

– Ну, на навязчивую преследовательницу вы как-то *не похожи*.

Она смеется, заново заворачивает тающий на руке лед.

– Да, преследовательница из меня была бы никуда не годная. Я вообще почти ни на что не гожусь.

– Чем же вы тогда *занимаетесь*?

– Пишу некрологи, – отвечает она. – Бог – редактор моего информационного отдела.

– Жизнерадостная, должно быть, работенка.

– На самом деле, *так и есть*, – парирует она. – Не будем забывать, ведь этих людей помнят.

– Да, но за что их помнят?

– Гораздо чаще за хорошее, чем за плохое, – говорит она. – Но вы бы очень удивились, если бы узнали, у скольких людей есть тайны.

Чайник свистит. Я заливаю кипятком два чайных пакетика. Ставлю ее чашку на стол рядом с ней.

С ближайшего к окну дерева откалывается сосулька и вдребезги разбивается о дорожку.

– Итак, – начинает она, – я нахожусь где-то поблизости от Олд-Фарм-роуд?

– Не знаю.

– Как так, вы живете здесь – и не знаете?

– На некоторых здешних улицах даже нет табличек с названиями.

Солнце село, и я зажигаю несколько светильников.

– Я и не представляла, что уже так поздно, – вздыхает она. – Вы знаете какое-нибудь место, где я могла бы переночевать?

– Внизу на острове полно таких мест, но я не уверен, что вы сумеете туда добраться.

– А что-нибудь такое, до чего можно дойти пешком?

– Только ползком.

– Это не совсем то, что я планировала, – шутит она.

Я пытаюсь найти решение, но его нет – или, скорее, есть только одно.

– Вы могли бы остаться здесь.

– Это мило с вашей стороны, – мнется она, – но я не знаю...

Громкий треск, раздавшийся снаружи, пугает собаку, и она принимается бегать кругами, поджав хвост. Я выглядываю в окно. Здоровенный сук рухнул на переднее крыльцо и наглухо заблокировал дверь.

– Может быть, это знак, – говорит она. На мгновение задумывается. – Давайте я сначала позвоню, ладно?

– Телефон не работает.

Она достает из кармана мобильник.

– О, связь пока есть, – и нажимает несколько кнопок на телефоне.

– Вы не против, чтобы сказать мне свое полное имя и адрес? – спрашивает она.

– Гарри Вайс, 122, Вудс-роуд.

Звонок срабатывает с третьей попытки. Она говорит в трубку:

– Это Сэм Лесли. Сейчас 14 марта 2008 года. Я нахожусь на Мартас-Винъярд. Здесь ледяной шторм, и у меня приключилось несчастье с машиной. Разбитый нос, растяжение кисти, но могло бы быть и хуже. Ночую по адресу 122, Вудс-роуд, в доме человека, которого зовут Гарри Вайс. Рост метр восемьдесят с чем-то, худощавого сложения, волосы каштановые, борода, на вид лет сорока, у него есть немецкая овчарка.

Она захлопывает телефон-раскладушку и сует его обратно в карман.

– Только без обид, – говорит она. – Дело не в том, что я вам не доверяю.

– Ни я, ни Ральф не обижаемся.

Она отпивает глоток чая.

– Я тут вот о чем подумала, – говорит она. – Тот человек, которого я ищу, – может быть, вы его знаете.

– Сомневаюсь.

– Он исчез пять лет назад.

– Значит, пропал без вести.

– Нет, – возражает она.

Она кладет тряпку со льдом на столик, обходит комнату по периметру. Присаживается на корточки перед моей книжной полкой.

– Эй, гляньте-ка на это! – поднимает над головой книжку, так чтобы я видел обложку. – Это же он! Говорю вам – это знак!

– Как он выглядит?

– Не могу точно сказать, – признается она. – Ни на одной из его книг нет фото автора.

– Я много лет не открывал эту книжку, – говорю я.

Она принимается было листать страницы, но я подхожу к ней и забираю книгу.

– Прошу прощения, но я мог оставить на полях слишком личные записи.

– Я точно так же делаю, – заверяет она. – ***Но послушайте, вам не кажется, что это знак? То, что я ищу его – и оказываюсь здесь и нахожу эту книгу на вашей полке?***

– Она когда-то была бестселлером, – возражаю я. – Наверняка она найдется во многих домах.

– Верно, – соглашается она. – Но он бы так не сказал.

– *Вам-то* откуда знать?

– Потому что я прочла все его книги.

– Я имею в виду, откуда вам знать, что бы он сказал *сейчас*?

– А я и не знаю, – отвечает она. – Лишняя причина для того, чтобы отыскать его.

– Значит, вы не верите в совпадения.

– Вы знаете, кто такой Пол Уинчелл?

– Нет.

– Он озвучивал Тигру в «Винни-Пухе», – поясняет она. – А еще он был первым человеком, который запатентовал искусственное сердце, а его помощником был доктор Генри Геймлих – да-да, *тот самый* Геймлих. Говорю вам, у меня в голове слишком много разной информации. Дело в том, что Пол Уинчелл умер на один день раньше Джона Фидлера, который озвучивал поросенка Пятачка.

– И это означает...

– Трубач и аккордеонист Лоуренса Уэлка¹ умерли в тот же день.

– Трагическое совпадение, – говорю я.

– Джим Хенсон² и Сэмми Дейвис-младший³, – настаивает она. – Орвил Райт⁴ и Ганди. Антониони и Бергман.

– Если в любой произвольно выбранный день умирает достаточное количество людей...

– Адамс и Джефферсон, – продолжает она. – Четвертого июля.

– Совпадение, – пожимаю я плечами.

– Я так не думаю, – настаивает она.

– Что-то в голосе у вас маловато уверенности.

Она трогает пальцами нос, осматривает их, проверяя, не идет ли кровь.

– То, во что слишком легко поверить, веры не стоит.

– Я не уверен, что из вас получился бы хороший проповедник.

¹ Лоуренс Уэлк (1903—1992) – американский музыкант, аккордеонист, руководитель оркестра и телевизионный импресарио, который вел программу «Шоу Лоуренса Уэлка» в 1955—1982 гг.

² Джим Хенсон (1936—1990) – американский кукольник, актер, режиссер, сценарист, продюсер, создатель «Мuppet-шоу».

³ Сэм Дэвис-младший (1925—1990) – американский эстрадный артист, киноактер и певец.

⁴ Орвил Райт (1871—1948) – один из двух братьев Райт, конструкторов первого в мире самолета.

– Лучшие проповедники больше всего сомневаются, – парирует она. Развязывает шнурки на ботинках неповрежденной рукой, сбрасывает их нога об ногу. – Я испачкала вам пол.

– От Ральф лужа гораздо больше.

Собака дремлет у двери; настораживает уши при звуках своей клички, но глаз не открывает.

– Ну, а вы чем занимаетесь?

– Каждый день одним и тем же. Выгуливаю Ральф. Если не слишком холодно, иду с ней на пляж. Слушаю музыку. Стараюсь не забывать звонить матери. Читаю стихи. Романы не люблю, и особенно длинные романы, поскольку не люблю привязываться к вещам. Только что начал читать книгу мемуаров, каждый из которых состоит из шести слов.

– Я знаю эту книгу! – подхватывает она. – ***Вся жизнь, сжатая в шесть слов.***

– *Пора начинать сначала, снова и снова.* Это один из моих любимых.

– Я могла бы под этим подписаться, – говорит она.

– *Я старался. Оказалось, что этого недостаточно.*

– Воистину, – соглашается она.

– *Время исцеляет все раны? Не совсем.*

– Печально, зато верно, – замечает она. – И каков был бы ваш мемуар?

– Здравствуй, прощай. Любая история. Зачем притворяться?

– Слишком грустно.

Я вытираю насухо пол в том месте, где сидела Сэм. Ральф потягивается, пока я протираю вокруг нее.

– Я мог бы топнуть ногой прямо перед ее носом, и она бы ухом не повела. Мне это в ней нравится. Она незнакома с жестокостью.

– А какова была бы ее история?

– ***Я что, похож на человека, который пишет историю жизни своей собаки?***

– Да.

– *Как здорово, что вы здесь. Правда!*

– Я тоже рада, что я здесь. Правда, *причина*, по которой я здесь оказалась, меня не радует.

Я смеюсь, хотя и не собирался этого делать.

– Прошу прощения, но это была история жизни Ральф.

– Что ж, – отвечает она, – но я действительно рада, что оказалась здесь.

– Мне не так часто приходится смеяться.

– Спорим, я угадаю, чем вы зарабатываете на жизнь.

– Я больше ничем не зарабатываю на жизнь.

– Вы слишком молоды, чтобы быть пенсионером.

– Очевидно, не слишком.

– Ладно, дайте-ка подумать... Бейсболка, борода лопатой, горные ботинки. Вы – богатый, эксцентричный предприниматель. Что-то вроде «гуглмэна», который каждый день заявлялся на работу в кроссовках и джинсах и сорвал куш.

– Увы – нет.

– Ладно, тогда вы работаете в музыкальной индустрии. Точно-точно, вы говорили, что слушаете музыку! Были продюсером студии звукозаписи, что-то типа того.

– Не-а.

– Дрессировщик собак.

– Мимо.

– Писатель, пишущий в жанре ужасов, что-то вроде Стивена Кинга. Вы пишете жуткие истории с местом действия на Мартас-Винъярд, но под псевдонимом. Гарри Вайс – это ваш псевдоним. А как ваше настоящее имя?

– Да ладно вам!

– Но это же возможно.

– Я был художником, – говорю я ей. – Но не слишком хорошим.

– Должно быть, все-таки хорошим, если уже успели отойти от дел.

– *Если люди покупают то, чем ты торгуешь, это еще не значит, что твой товар хорош.*

– Вы писали маслом?

– Я не смог бы писать маслом или рисовать даже ради спасения своей жизни. Я делал скульптуры из найденных предметов – из мусора, который люди выбрасывают или продают на гаражных распродажах. Старые письма, детские ботинки, призы из боулинга.

– А разве может художник выйти на пенсию?

– Конечно.

– Разве это профессия, а не человеческая *суть*?

– Я больше в это не верю.

– Не верите – во что?

– Когда-то я верил, что могу спасти вещи.

– У вас здесь есть что-нибудь из ваших работ?

– Я все роздал. Чем старше я становлюсь, тем больше раздаю. К слову, могу я вас чем-нибудь покормить? Вы, должно быть, проголодались.

– Не думаю, что смогу жевать, – отвечает она. – Челюсть болит, да и вся голова тоже.

– Я мог бы приготовить суп.

– Спасибо, но я больше устала, чем проголодалась. Я выехала из Нью-Йорка сегодня ни свет ни заря.

Ледяной дождь теперь еще сильнее лупит по стеклам. Я выглядываю в окно: телефонные провода обвисли еще ниже, гамак касается земли.

– Как вы думаете, когда это кончится? – спрашивает она.

– Не раньше завтрашнего дня, – отвечаю я.

Она морщится, вращая поврежденной кистью.

– Я знаю, что еще рано, но вы не будете против, если я попытаюсь немного поспать?

– Я могу переночевать на диване, – говорю я ей, – а вы занимайте мою кровать.

– Я отлично устроюсь и на диване, – возражает она.

Я выношу для нее одеяло и подушку и говорю, что если ей что-то понадобится, я буду в спальне.

Я открываю дверь своей комнаты и спрашиваю Ральф, не хочет ли она пойти со мной. Она приоткрывает глаза, но остается возле дивана. Сэм уже забралась под одеяло, и единственная непогашенная лампа осталась у нее над головой.

Закрываю дверь и спустя несколько минут слышу, как Ральф скулит. Снова открываю дверь, чтобы впустить ее. Но нет, она просто хочет, чтобы дверь была открыта. У нее сильный пастуший инстинкт: она будет беспокоиться, если не сможет видеть каждого в своей стае. А Сэм, по крайней мере на эту ночь, стала новым членом нашей стаи.

Прежде чем устроиться спать на полу в коридоре, Ральф входит в мою комнату, подходит к коробке, нюхает носки и свитеры, лежащие внутри.

Она проделывает это каждый вечер.

* * *

Я что-то забыл, что-то потерял, совершил ужасную ошибку, которую никогда не смогу загладить...

А потом в дверях моей комнаты возникает она, спрашивает, все ли со мной в порядке.

Я сижу в постели, пытаюсь совладать с дыханием; кажется, будто я от чего-то убегал. Рубашка пропотела насквозь. Медленно вспоминаю, где я, кто эта женщина, стоящая подле моей постели, и что мне приснился плохой сон.

А потом вспоминаю, что сон мой не был сном.

Я ложусь, отворачиваюсь от нее. Она садится на краешек кровати, прикасается к моей спине.

– Вы ужасно кричали, – говорит она.

– Простите, что разбудил вас.

– А я не спала, – говорит она. – Я вообще не очень хорошо сплю.

Внезапный порыв сказать ей правду; в темноте гораздо легче. Но я не говорю ничего; утром она уйдет. Если она вернется – что вполне может случиться, когда она поймет, где побывала, – я не стану подходить к двери.

– Теперь я могу уйти, – говорит она. – Я просто хотела убедиться, что с вами все в порядке.

Я не хочу, чтобы она уходила; ощущение еще одного тела на постели – это приятно.

– Расскажите мне свою историю в шести словах.

Она закидывает ноги на кровать и облокачивается на изголовье рядом со мной. Я сажусь, и мы смотрим друг на друга в темноте.

– Проблемный отец. Брат погиб. Получила помощь.

Дождь хлещет в окно; звук капли ото льда, тающего в водосточных трубах и на деревьях.

– Шести слов недостаточно. Вам следовало использовать семь.

– Проблемный отец. Брат погиб. Продолжаю получать помощь.

– Намного лучше, – киваю я. – История продолжается.

– Печальная история, которая никогда не заканчивается, счастливее, чем счастливая история, которая заканчивается.

– У всех историй одна и та же концовка.

– Зависит от того, что понимать под концовкой.

– Все кончено. Конец.

– Ненавижу, когда истории заканчиваются этим словом, – говорит она. – Когда я была маленькой, я всегда плакала, услышав, что «и потом они жили всегда долго и счастливо». Потому что, видите ли, они жили долго и счастливо, а не живут долго и счастливо.

– Вас ужасно расстраивали грамматические противоречия.

– Они жили счастливо – отлично. Это я могу принять. Но как только используешь прошедшее время – жили, уже нельзя сказать – всегда.

– У вас красивый голос.

– А петь я не умею.

– Все умеют петь.

– Я плохо пою.

– Попробуйте спеть пару нот.

– Поверьте мне на слово, – настаивает она.

– Тогда расскажите мне сказку.

- Счастливую или печальную?
- Расскажите мне о своем отце.
- Вряд ли из этого получится хорошая сказка на ночь.
- Ладно, тогда о вашем брате.
- У нее несчастливый конец.
- Тогда расскажите о помощи.

Теперь она лежит на боку, положив голову на одну из моих подушек.

– *Мой брак был неудачным*, – начинает она. – *Честно говоря, он был куда хуже, чем просто неудачным. Я попала в опасную ситуацию... в общем, вы понимаете.* Хотела уйти, но... А потом однажды приходит почтой эта книга, и я такая думаю, *это* еще откуда. Она называлась «Повседневные чудеса», и внутри лежала записка от автора – не просто кому-нибудь, но *мне. Дорогая Саманта, то, что я послал тебе эту книгу, – не случайность.* И когда я прочла ее, все вдруг – щелк, и встало на место. Это все равно, как если бы он назвал мне мое истинное имя. Будто я тридцать лет бродила по свету, думая, что я – человек по имени Саманта, а в действительности была кем-то другим. Спустя несколько лет я написала ему письмо, рассказала, что его книга изменила мою жизнь.

– И что же, он ответил?

– Он написал мне, что дело *во мне*, а не в нем. Это было *мое* намерение – освободиться от мужа, потому я и притянула эту книгу к себе.

– И вы в это верите?

– Да.

– Это означало бы, что вы намеренно упали и разбили себе лицо.

– А *вы* верите в то, что написано в его книге?

– Та книга – подарок. Мне ее подарили давным-давно.

– Вы когда-нибудь испытывали ее на практике?

– Я не больно-то много из нее помню.

– Я же не пытаюсь обратить вас в свою веру или что-то такое...

Я слышу, как Ральф встает и встряхивается, затем идет через кухню к своей миске.

– Мне всегда нравился звук, который она издает, когда лакает воду.

– Да, успокаивает, – соглашается она. – В дрему вгоняет.

– Меня тоже, – говорю я, ложусь рядом с ней, закрываю глаза.

* * *

Ее машина уткнулась в дерево, задние колеса утонули в слякоти. Дерево нагнулось над дорогой, кончики его ветвей касаются земли на другой стороне, образуя ледяную арку, под которой мы стоим. На улице солнечно, стало теплее, и лед подтаивает, превращаясь в грязный суп-пюре. Я с опаской ступаю по ледяной корке, но мои ботинки проламываются сквозь нее до раскисшей глины. Ральф отправилась прокатиться вместе с нами; она сидит у задней двери моего фургона, не решаясь выпрыгнуть.

– До того как она состарилась, – поясняю я, – ничто не могло удержать ее от того, чтобы вываливаться в грязи, – я свистом подзываю собаку к себе, но она только скулит. Ей не хочется ни бежать ко мне, ни разочаровывать меня. – И ведь было такое время, когда я ни за что не хотел давать ей испачкаться.

– Она же собака – ей положено пачкаться.

– Моя жена именно так и говорила.

– Что ж, она была права.

– Она вообще во многом была права. – Я стряхиваю грязь с ботинок, затем на цыпочках иду дальше в ледяную кашу. – Я был гораздо более суетливым.

– Это заметно.

– Мне не нравится, когда вещи портятся.

– Но ведь это же рабочие ботинки, – возражает она. – Они так и напрашиваются, чтобы их уделали. Для того и существуют. Вы же не хотите отказать им в этом, не правда ли?

Я топаю по жидкой грязи, забрызгивая свои брюки и борта ее машины.

– Так-то лучше, – одобрительно замечает она.

Я свистом подзываю Ральф, велю ей подойти ко мне. Она скулит. Я наклоняюсь и хлопаю себя по коленям.

– Ну, давай, – говорю я, и на этот раз мне будет грустно, если она не подойдет. – Где твой мальчик? Где же твой мальчик, Ральф?

Она подползает ближе к подножке, смотрит вниз, на топь, которая раскинулась под ней.

А потом я говорю это.

– Где твоя девочка? Ну, давай, Ральф. Где твоя девочка?

Ее взгляд меняется; она выскакивает из фургона и принимается бегать кругами, потом взад-вперед от одной обочины к другой.

– Все в порядке, – говорю я ей. – Прости. Все хорошо. Иди сюда.

Она подбегает ко мне, и я глажу ее; она валится на брюхо, шлепает лапами по грязи. Я зачерпываю глинисто-ледяную жижу и вываливаю горсть ей на спину; она шарахается прочь, потом возвращается.

– Мне не следовало этого говорить, – говорю я. – Это было жестоко.

– Она уже забыла.

– Может быть, «девочка» – это теперь для нее просто слово. Я иногда произношу его, просто чтобы убедиться, что она по-прежнему на него реагирует.

– В данный момент она кажется вполне счастливой.

– Грязь, – провозглашаю я, – вот секрет счастья.

Сэм подбирает комок глины и натирает им свой нос, потом мажет мой. Мне инстинктивно хочется стереть грязь, но я этого не делаю.

Меня так и подмывает сказать: «Она бы именно это и сделала». Собственно, именно это ты и сделала в наш медовый месяц, и я стер грязь, и тогда ты снова измазала ею мое лицо, я снова ее стер, а ты продолжала пачкать глиной мое лицо, волосы, одежду, пока я не сдался и не позволил обмазать себя с ног до головы.

– Залезайте в машину, я подтолкну, – предлагаю я ей.

Колеса разбрызгивают грязь по моей одежде, по лицу. Ральф лает в ответ на рев мотора, охотится за летящими брызгами так же, как охотится за снежинками и разбивающимися о берег волнами – за всеми вещами, которые исчезают, как только она их поймает. Машина не шелохнется; кажется, что она не сдвинется никогда.

– Ладно, – говорю я, – видимо, вам придется какое-то время побыть на Винъярде.

– Я не против, – говорит она. – Если только отыщу Олд-Фарм-роуд.

Ральф валяется на спине, вся покрытая глиной; она так довольна, что не желает лезть в машину, когда я ее зову.

– Может быть, она хочет пробежаться вверх по холму, – замечает Сэм.

– Может быть, и хочет, только она слишком стара, – я щелкаю пальцами, подзывая собаку. – Ну, давай – лезь в машину. Поехали, – настаиваю я, и она слушается.

– Наверно, мне следовало бы пойти пешком, – говорит Сэм. – Я не хочу испачкать вашу машину.

– Настоящий грязнуля здесь – я, – возражаю ей. – Кроме того, беспорядок – не худшее, что может случиться в мире.

Только когда она уже в душе, я вспоминаю, что они в ванной. Я не могу позволить ей увидеть их.

Я стучусь в дверь, и она говорит «входите». Я чуть приоткрываю дверь.

– Я ужасно извиняюсь, – говорю я ей, – но мне нужно кое-что отсюда забрать.

– Не за что извиняться, – откликается она. – Это же ваша ванная.

Я не помню, в какой именно журнал их вложил, поэтому забираю с собой всю пачку.

Я раскладываю журналы по своей кровати и пролистываю их, пока не нахожу чеки – пять или шесть чеков на авторские гонорары с моим именем и адресом на них. Мне не было необходимости обналичивать их или класть на счет. И дом, и машина оплачены много лет назад, а сам я трачу не так уж много. Вероятно, кончится тем, что я перепису их на свою мать, которую все стараюсь уговорить переехать в общину для пенсионеров. Убедить ее не удастся; она умрет в своем доме, точно так же, как мой отец. Наверно, я пытаюсь убедить и самого себя, поскольку мне была бы ненавистна мысль о том, что незнакомые люди живут в доме, где я вырос, в том доме, где началось все это – эта история, которую я пытаюсь рассказать и, таким образом, понять.

Я прячу чеки в нижнем ящике, под кучей носков.

Она выходит из ванной, вытирая полотенцем волосы. Одета в свою забрызганную грязью одежду.

– Не знаю, есть ли смысл принимать душ, когда забываешь взять с собой чистые джинсы.

– Я могу отвезти вас в город, – предлагаю я. – Уверен, вы найдете там себе новую пару.

– Вы и так для меня достаточно сделали.

– Ничего не имею против, – отмахиваюсь я. – Я уже давно никому не помогал. Так помогать нетрудно. Чашка чая, ночлег, душ, поездка в город.

– А как помогать трудно?

– Спасать людей, – говорю я. – Не так, как помогают людям, попавшим в аварию, – первая помощь, искусственное дыхание и все такое. Я имею в виду – в более глубинном смысле.

– Вы хотите сказать, что моя душа нуждается в спасении?

– Конечно, нет. Если чья и нуждается...

– Я шучу, – торопливо перебивает она. – Я просто шучу.

Мне не следовало останавливаться, когда она попросила меня это сделать, но я не мог найти оправдания, чтобы не притормозить, и вот теперь она расспрашивает этого мужчину, местного бегуна, не знает ли он, где находится Олд-Фарм-роуд. Пожилой, седобородый, в черных тренировочных брюках, ноги мускулистые; наверно, каждый день бегают, в любую погоду, даже в день после ледяного шторма.

Он смотрит в другую сторону, и я облегченно перевожу дух, но потом он тыкает пальцем, указывая на дорогу позади нас, и говорит:

– Это вон там, в противоположную сторону, примерно в четверти мили отсюда. Первый поворот налево после шоколадного магазина.

– Вы уверены?

– Определенно, – отвечает он, пытаясь выровнять дыхание. – Моя сестра когда-то жила на Олд-Фарм-роуд.

Сэм смотрит на меня.

– Мы только что приехали оттуда, – говорю я. – Я знаю, что это не Олд-Фарм-роуд, потому что я там живу.

– Что ж, может быть, это второй левый поворот после шоколадной лавки, – пожимает мужчина плечами. – Я там не был уже несколько лет.

– А где же находится Вудс-роуд? – спрашивает она.

– Это рядом с тем местом, где я живу, – говорит он. – Примерно в четверти мили в том направлении, куда вы едете.

– Спасибо, – говорю я. Поднимаю боковое стекло и еду вперед. Шоссе в удивительно хорошем состоянии, учитывая, как мало времени прошло после шторма, но на них кое-где остались островки льда. Машина идет юзом, и я мягко нажимаю на тормоз. Короткая паника, еще раз даю по тормозам, и шины снова цепляют асфальт. Дорога петляет, и я вхожу в повороты со всеми предосторожностями. Грузовик с солью, с цепями на колесах, проезжает мимо нас в противоположном направлении.

– Вряд ли он понимает, о чем толкует, – говорю я Сэм.

– Может быть, нам стоит вернуться назад и попробовать свернуть на следующую дорогу после вашей, – предлагает она.

– Мы ведь уже направляемся в город, – возражаю я. – Давайте сперва добудем вам джинсы.

– Притормозите здесь! – говорит она. – Скорее, тормозите!

– Да что такое случилось?

– Полицейская машина, – поясняет она. – Я могу спросить дорогу у них.

– Извините, – говорю я ей, – но я не могу остановиться.

– Почему нет?

– У меня машина не зарегистрирована.

– Тогда выпустите меня, – говорит она. – Они не увидят ваших номеров.

– Прошу прощения, но я не могу.

– Ну, пожалуйста, – настаивает она, и я не отвечаю.

Она отстегивает ремень безопасности, берет за дверную ручку.

– Что вы делаете?

– Хочу выйти из машины. Сейчас же, – говорит она.

– Пристегните ремень.

– Остановите машину.

– Не раньше, чем вы пристегнете ремень.

Она выполняет мою просьбу, но я не останавливаюсь.

– У вас нет причины пугаться, – говорю я ей.

– Вы живете не на Вудс-роуд, – возражает она. Не дождавшись от меня ответа, спрашивает: – Как вас зовут на самом деле?

– Это не имеет значения.

– Имеет – для меня, – говорит она. – Имеет значение то, что вы дали мне ложное имя и адрес.

– А откуда мне знать, что ваше настоящее имя – Сэм?

– Я могу показать вам свои водительские права, – говорит она. – Давайте-ка взглянем на ваши.

– Я не взял их с собой.

– Тот бегун нас видел, – напоминает она.

– Я не причиню вам вреда.

– Именно так обычно и говорят перед тем, как навредить.

– Ладно, я довезу вас обратно к вашей машине.

– Я хочу, чтобы вы отвезли меня в полицию.

– И что вы им скажете? Что я напоил вас чаем и предоставил комнату для ночлега?

– Почему вы солгали, назвав мне неправильное имя?

– Я – частное лицо.

– А вашу собаку и вправду зовут Ральф?

– Да.

– Не насмехайтесь надо мной, – просит она. – Мне страшно.

– Извините.

– Здесь, – командует она. – Тормозите – на этой парковке.

– Неужели мы не можем просто ехать дальше!

– Вы меня пугаете, – говорит она. – Если вы сейчас же не припаркуетесь...

Она хватается за руль, и машина идет юзом. Я теряю управление, и мы боком вылетаем на встречную полосу.

В это не веришь, пока это не случится. В это не веришь даже тогда, когда это случается, – в то, что человеческий череп способен пробить ветровое стекло. Уж наверное стекло проломит череп, никак не наоборот. Конечно, лицо будет разбито вдребезги. Конечно, будут выбиты зубы, треснет челюсть, переломится шея, позвоночник. Конечно, ты не уйдешь отсюда своими ногами, тебя понесут. Конечно, ты никогда больше не сможешь ходить. Ты весь подбираешься, закрываешь глаза. Твое тело перестает дышать. Ты слышишь это раньше, чем ощущаешь. Самый громкий треск, какой тебе когда-либо приходилось слышать, а потом ты это ощущаешь. Окно набрасывается на тебя, руль, приборная доска – все они набрасываются на тебя. От удара ты отскакиваешь назад, в кресло. Резкая боль в ребрах. Ты пытаешься вдохнуть. Твои глаза остаются закрытыми, ты зажмуриваешь их покрепче, на это уходит вся твоя энергия, ты не откроешь их, что бы ни случилось, ты не хочешь видеть. Кто-то стонет. Кто-то другой, не ты. Ты не можешь вспомнить, кто. Единственное, что тебе нужно, чего ты хочешь больше всего на свете, – это один вдох. Ты выжидаешь. И раньше случалось так, что из тебя вышибали дух, ты падал на футбольный мяч, тебя били кулаком в солнечное сплетение, ты знаешь, как это бывает – когда кажется, что больше никогда не сможешь дышать, но всегда начинаешь дышать снова, и в этот раз будет точно так же. Ты пытаешься дышать, но ничего не получается. Ты пытаешься снова. Ничего. А потом перестаешь пытаться. Тьма делается еще темнее. Безмолвие. Ничто.

Глава 2

Повседневные чудеса

Знаешь, я всегда избегал темноты. Я тянулся к свету; я создавал его при любой возможности, днем или ночью, но в особенности ночью, нажатием, поворотом или щелчком выключателя. Я знал наперечет все источники света. Возле моей кровати стоял торшер – там он стоит и сегодня, четыре десятка лет спустя, и используется, только когда я навещаю мать в Квинсе. По вечерам я терпел тьму до тех пор, пока мои родители не включали телевизор. Я надеялся, что в его звуке утонет шорох простыней, когда я тянусь к лампе, щелчок выключателя. Но моя мать всегда слышала. Она окликала меня, велела выключить свет, и я выключал – или щелкал выключателем дважды, очень быстро, чтобы звуки слились в один щелчок. В некоторые вечера она поднималась на второй этаж и выключала лампу вместо меня.

Во тьме могло случиться все, что угодно. Мои глаза никогда по-настоящему не привыкали к ней. Иногда по ночам я вставал, чтобы пойти в уборную, – или притворялся, что пошел туда, и оставлял включенным ночник над раковиной. Этого слабого света из коридора едва хватало, чтобы можно было разглядеть деревянные панели, покрывавшие стены моей комнаты. Я изо всех сил старался отыскивать в узорах древесины дружелюбные физиономии. В них можно было найти любые лица, какие захочешь, и требовалась огромная сосредоточенность, чтобы игнорировать страшилищ – широко раскрытые глаза, рты, распахнутые в страхе или изумлении. Иногда мать окликала меня, требуя выключить ночник, и я говорил ей, что плохо себя чувствую, и ложился на пол в ванной, и порой по утрам *на самом деле* просыпался больным, как будто сотворил болезнь собственным разумом.

Отчаявшись, я таскал у отца спички и прятал их в паре фиолетовых полосатых гольфов, которые никогда не носил. Я кашлял, чтобы замаскировать треск чиркающей спички, а потом считал секунды, прежде чем пламя добиралось до моих пальцев.

Была еще лампа на потолке моей спальни, которая загоралась от выключателя возле двери. Был яркий светильник в коридоре, им почти не пользовались. Были две настольные лампы в спальне родителей, установленные на тумбочках по обе стороны кровати. Там же была и потолочная люстра, но лампочки в ней давным-давно перегорели, а отец не давал себе труда заменить их. Еще были три светильника в гостиной, и свет от экрана телевизора, и янтарные угольки на кончиках сигарет, которые почти непрерывно курил отец. Сквозь маленькое квадратное окошко в нашей передней двери светила луна, а в ясные ночи заглядывали звезды. В столовой висела большая люстра и было несколько лампочек внутри горки, в которой стоял парадный фарфор родителей, их включали редко. Была еще лампа над кухонным столом, за которым я ел и делал уроки, и маленькая лампочка в плите, пожалуй, моя любимая, поскольку она горела всегда. Как бы ни было темно в моей комнате, я мог прибегнуть к этому последнему средству, представить себе крохотную галогеновую лампочку в плите, а под ней часы, остановившиеся на цифрах 2:22. Этому числу я приписывал особый, почти магический смысл, и значение его стало мне ясно лишь намного позднее, когда я познакомился с тобой – 22 февраля. В вечер нашего с тобой знакомства было светло – молнии снаружи, освещенная сцена внутри – *и так оно и должно быть*, помню, подумал я: все вело именно к этому моменту.

Был фонарь в нашем дворе, были фонари во дворах всех соседей – цепочка огней, которые я видел поверх изгородей, разделявших наши участки, а дальше, за самым дальним двором, были огни Манхэттена, которые мы, жители Квинса, называли «городом», хотя и сами жили в том же городе.

Существовала проблема света в подвале. Выключатель находился в самом низу лестницы; надо было спуститься в темноту, чтобы нащупать его (казалось, он всякий раз оказывался в другом месте), а когда закончишь разбираться с бельем для стирки, приходилось выключать свет и взбегать по ступеням, прежде чем что-то успеет уволочь тебя обратно во тьму.

Я часто влипал в неприятности из-за того, что включал те светильники, которые не нужно было включать, или оставлял гореть лампочки, которые мне сто раз было велено выключить.

Но эти мои заморочки тебе знакомы. Пусть ты знаешь не все, что я собираюсь сказать тебе в этой книге, да и я сам этого не знаю – но вся подноготная моих сложных взаимоотношений со светом и тьмой тебе известна. Сколько раз я засыпал рядом с тобой – неважно, читая или нет, – оставив включенной лампу! Когда ты стала жаловаться на это, а жаловалась ты каждую ночь, я купил будильник, чей циферблат давал достаточно света, чтобы я мог видеть абрис кресла у окна, собаку, растянувшуюся на деревянном полу возле обогревателя, очертания твоего тела под одеялом. Я хочу сказать тебе теперь – и сказать искренне, это не мое одиночество говорит за меня, – что мне хватало твоего света. Помнишь, было несколько ночей, когда отключали электричество и циферблат часов гаснул. Если бы я мог вернуть эти ночи, я не полез бы проверять пробки, я не стал бы выглядывать на улицу, чтобы выяснить, у всего ли квартала отключили электричество, я не стал бы искать фонарик и оставлять его на своей тумбочке. Я бы вообще не вылезал из кровати, не удалялся от тебя ни на шаг. Я забрался бы вместе с тобой под одеяла, туда, где было темнее всего, где было светлее всего, несмотря на тьму.

Неделя перед наступлением Рождества означала, что в доме будет больше света: небольшая елочка в окне, вспыхивающая гирлянда на двери.

Мне было семь лет. Счастливая семерка, сказал мне отец.

Моя мать сидела рядом со мной, поглаживая меня по спине, пока я не заснул.

Позже я проснулся, одинокий и ослепший во тьме. Я парил в глубоком космосе, за миллион световых лет от дома.

Я потихоньку выбрался из своей комнаты, на цыпочках прошел по коридору, пробуя ногой скрипучие половицы, прежде чем перенести на них весь вес, и уселся на ступеньках. Мои родители смотрели по телевизору «Жену епископа» – старый рождественский фильм об ангеле. Матери нравились фильмы с Кэри Грантом, потому что он и мой отец, если не считать отцовских усов, были похожи как две капли воды. Сквозь перила я видел, как ангел – он с тем же успехом мог быть моим отцом – помогает слепому перейти улицу, и машины тормозят в последний момент перед столкновением. Потом он спас малыша, которого едва не переехал грузовик. Он мог появляться и исчезать по собственному желанию; он мог наполнить бокал вином с помощью мысли; он мог за пару секунд украсить рождественскую елку. Я решил тогда, перед тем как меня сморил сон, что хочу быть ангелом. Когда я проснулся, ангел заставлял пишущую машинку печатать, не касаясь ее. И я снова задремал.

Потом – не знаю, насколько позднее – я проснулся на лестнице: открылась входная дверь, снова закрылась; низкий мужской голос, другой, не моего отца.

Потом мамин плач.

Я спустился на пару ступенек, чтобы лучше видеть.

Мой отец стоял лицом к двери, обнимая мать за плечи. От его сигареты тонкой ниточкой тянулся вверх дым. Иногда по ночам он просыпался только для того, чтобы покурить. Этот запах, особенно ночью, действовал на меня успокаивающе. Мама пыталась заставить его бросить; она просила меня помочь ей, таская у него сигареты и обливая их водой, но я не хотел, чтобы он бросал. Трудно было представить его лицо без зажатой в губах сигареты.

Когда я увидел того человека, то вряд ли понял, что он настоящий. Может быть, это ангел, подумал я. Но потом увидел, что он держит в руке нож. На нем была одна фланелевая рубаша, без пальто. Короткие рыжие волосы, широкий нос, лицо, покрытое веснушками. **Я боялся веснушек; думал, что они заразные. У моей матери были веснушчатые руки, и если она трогала мою еду, я отказывался есть.**

Тот мужчина был не выше моего отца, но гораздо крупнее; он тяжело дышал, его грудь вздымалась, как будто он только что взбежал вверх по холму к нашему дому.

Отец сделал шаг вперед, закрывая собой мать; он не выпустил изо рта сигарету, но продолжал курить, не касаясь ее руками. Он втягивал дым через рот и выдыхал через нос. Я задумался, что он будет делать, когда сигарета дотлеет до конца; в этот момент он обычно всегда прикуривал следующую. Он курил, когда ел ростбиф, перед тем как положить в рот очередной кусок; он отпивал по глотку пива между затяжкой и выдохом.

Тот человек шагнул к моему отцу, который не утратил хладнокровия. Отец заговорил, мягко, как с ребенком:

– Это моя жена, – сказал он. – Она напугана, как ты можешь себе представить.

Тот человек не сказал ничего; он держал нож сбоку, у штанины джинсов, лезвием вниз. То и дело сжимал рукоятку.

– Она не знает того, что знаю я, – продолжал отец, – не знает, что нет никаких причин бояться. Просто дело в том, что ты зашел не в тот дом. Ночь выдалась долгая, и ты заблудился.

Отец пыхнул сигаретой и продолжал:

– Тебе нужно всего лишь положить это.

Я понял, что он имел в виду нож, и обрадовался, что это слово не было произнесено вслух.

– Здесь тебе это не понадобится, – проговорил мой отец.

Мужчина поднял нож; он разглядывал его, словно не мог взять в толк, как эта вещь оказалась в его руке. Он несколько раз моргнул, потом сделал шаг вперед и положил нож на кофейный столик.

– А теперь вот что тебе нужно сделать, – продолжал отец, – пройти два квартала вниз до телефона-автомата и позвонить кому-нибудь, кто сможет забрать тебя. – Он пошарил в кармане и подал мужчине десятицентовик. – Вот, держи, – сказал он. – Счастливого тебе добратья до дома.

Мужчина кивнул, положил монетку в карман, открыл дверь и ушел; он даже не подумал забрать свой нож.

Отец не бросился запирать за ним дверь; именно это я бы сделал на его месте. Он не стал звонить в полицию до следующего дня, да и тогда сделал это только потому, что мать настояла.

Я спустился по лестнице и спросил родителей, кто был этот человек.

– Он заблудился, – объяснил отец.

– А что ему было нужно? – спросил я.

– Мы живем в жутком мире, – сказала мать.

– Да все нормально, – сказал отец.

– Это чудо, что ты проснулся живым, – выговорила мать.

Ее начала бить дрожь. Отец попытался обнять ее, но она оттолкнула его, словно он сделал что-то плохое, словно это не он только что спас нас.

Следующим вечером, когда настало время ложиться спать, отец спросил меня, страшно ли мне засыпать; я сказал, что да, страшно.

– Ну и нечего тут стыдиться, – сказал он. – Но я хочу, чтобы ты кое о чем узнал, – он отвернул голову в сторону, чтобы выдохнуть дым. – Когда чего-то боишься, – сказал он, – это обычно само тебя находит.

Я ждал, что отец продолжит мысль, но он молчал.

– Почему он сделал то, что ты велел ему сделать?

– *Мысль могущественна*, – ответил он. – *Я увидел, как он кладет этот нож, и тогда он это сделал. Я увидел, как он уходит, и тогда он ушел.*

– Откуда ты знаешь, что это сделал не Бог?

– Как раз Бог это и сделал, – ответил отец. – Но как ты думаешь, где живет Бог?

– Где?

Он постучал меня пальцем по лбу.

– Вот здесь.

* * *

Мы жили в окружении мертвецов: мавзолеев за нашим гаражом, ряды надгробных плит, насколько хватало взгляда. Наш дом соседствовал с кладбищем, на котором был похоронен Гарри Гудини. Каждый Хэллоуин, в годовщину его смерти, десятки людей собирались у его могилы и ждали, что он восстанет из мертвых или свяжется с ними из потустороннего мира – чтобы подать им знак, что он по-прежнему существует где-то, в какой-то форме. Когда мой отец рассказал мне об этом, я испытал одновременно восторг и ужас от того, что мертвые могут восстать, что воскресение может оказаться не эксклюзивным чудом Иисуса. Моя мать, истовая католичка, которая была убеждена, что магия – это святотатство, велела отцу прекратить забивать мне голову чепухой.

– Кто бы говорил, – отозвался он.

Мой отец со спокойным, детским любопытством рассматривал мир как странное, волшебное место; моя мать считала мир местом, которого следовало бояться. Мать влачила свой крест, тогда как отец показывал, как прекрасна его древесина. Я провел большую часть своей жизни, пытаюсь разобраться, кто же из них был прав. Вполне возможно, конечно, что правы были оба.

Но какое-то время победа оставалась за отцом.

Его звали Глен Дейл Ньюборн, а жили мы в одном из районов Квинса – Глендейле, и я был совершенно уверен, что наш район назван в его честь. А еще я считал, когда был маленьким, что Глендейл и есть весь мир, что больше не существует ничего, так что наш мир назван в честь моего отца.

Мою мать зовут Роуз, и теперь я думаю, что мир назван и в ее честь тоже. Любуйся лепестками, но берегись шипов. Рыжие волосы, бледная кожа, настолько же маленькая, насколько был высок отец, ее 150 см против его 180; однако она казалась выше его, выше всех, кого я знал. Я тоже был высоким – со временем даже перерос отца, – но горбился, чтобы казаться поменьше.

Много лет спустя мой коллега, писатель в жанре самопомощи, докопался до сути. Он сказал мне: «На каждой странице твоих книг за жизненное пространство борются две вещи – вера и сомнение. Твоя вера, как это выходит из твоих же слов, должна быть сильнее, чем сомнения читателя. Твоя вера должна быть сильнее, чем твои собственные сомнения. Вот только никогда не забывай, что сомнение – друг веры, та самая вещь, которая делает веру сильнее».

Оратор-мотиватор, мотивирующий оратора-мотиватора.

«В твоём разуме, в твоём сердце постоянно борются за жизненное пространство две истории», – сказал он, словно близко знал моих родителей и был свидетелем моего детства.

История, в которую мать хотела бы заставить меня поверить, заключалась в том, что мой отец, хоть она его и любила, был немного странным. Она никогда не произносила слова «чокнутый»; понимала, что это слово я бы отверг. Но странный – да, это *было* верно; теперь я это знаю, хотя мне следовало знать – а может быть, на каком-то уровне я и знал – еще тогда.

Пусть так – я верил каждому его слову.

Моим самым первым воспоминанием (как вспоминала за меня моя мать) был тот момент, когда отец уехал. Надолго ли – не могу сказать, в особенности потому, что на самом деле это не мое воспоминание; просто рассказанная мне история. Мне было четыре года, и я ревел не переставая, пока отца не было дома, прерываясь только на сон. Так говорит мать. Мой отец отправился на рыбалку, но разыгралась буря, и он не мог попасть домой.

Не припоминаю за отцом никаких поездок на рыбалку. У него не было ни удочки, ни коробки со снастями; а рыбу он даже *не ел*.

Так что мне остались одни вопросы – теперь, годы спустя, когда отца уже давным-давно нет, – вопросы, на которые у меня нет ответов. Куда же он делся тогда, если не на рыбалку? Куда вообще девается человек, когда он куда-то девается?

Прибавь к этой истории другую, мать рассказывала ее о моем дедушке, папином папе, который умер задолго до моего рождения – утонул, как мне было сказано, и даже мой отец никогда этого не отрицал.

Мой дед принадлежал к другой церкви и был отпавшим от веры католиком, который почему-то решил, что сможет ходить по воде. Принял ли он это решение в период особого религиозного рвения или нет – осталось неизвестным. Вот он-то и *в самом деле* отправился рыбачить, как гласит легенда, шагнул из лодки в бурные волны и исчез в море.

Всякий раз как мать хотела назвать отца *чокнутым* – например, если она выглядывала в окно и видела, как он показывает мне и моим приятелям волшебные фокусы с монеткой за ухом, с долларовой бумажкой, которую он складывал пополам раз, и другой, и третий, и которая затем исчезала в его ладони – она называла чокнутым моего деда. И снова рассказывала историю о том, как он уверовал в то, что может ходить по воде, вот глупость-то какая, и слушатель – я – должен был понять, что то же самое можно сказать и о моем отце: что он неплохой человек, заботливый семьянин, но у него неверные представления о том, как устроен мир. Под неверными представлениями мать понимала следующее: отец не слишком усердно посещал церковь, не видел смысла в застольной молитве, а под словом *Бог* подразумевал нечто совершенно иное, чем моя мать и большинство людей.

Когда мать была недовольна отцом, ее раздражение еще больше разрасталось из-за его нежелания повышать голос и возражать ей, и тогда она говорила: «Ох, смотри, отошлют тебя, сам знаешь куда». Или: «Ты бы поосторожнее, а не то кончишь тем же, что твой отец и все остальные Ньюборны».

Я даже не очень понимал, что моя мать имела в виду. Может быть, все остальные Ньюборны пытались ходить по воде и тонули. Может быть, все они сходили с ума, и отец был следующим на очереди, а после него – и я.

Человеку полагается учиться на историях, правдивых или не очень, особенно на историях о собственных предках; но несколько лет спустя я тоже попытался пройти по воде.

Мне было семнадцать, и я пытался спасти мою первую подружку, которая не испытывала никакого желания быть спасенной. Возможно, она и не нуждалась в спасении; возможно, и теперь ее все устраивает, что бы это ни означало. ***Она была на два года младше меня, пятнадцатилетка, строившая из себя сорокалетнюю. Пила и курила напропалую.*** Любила сидеть на край платформы в метро и ждать поезда, болтая ногами над пустотой.

Моего отца к тому времени уже не стало, и она видела во мне трагическую фигуру, такую же, как она сама – ее отец тоже умер, – и поэтому я ей нравился. Она считала, что в этом отвратном мире мы с ней заодно. Мы курили травку на могиле моего отца, а потом оказывалось, что я читаю ей проповеди о том, что счастье – это не вовсе кусок дерьма, как она предпочитала думать. Она смеялась и говорила мне, что я забавный, а потом засыпала в кладбищенской траве, и я будил ее, пока не успело стемнеть, и провожал пешком к поезду.

Имя подходило ей идеально – Гейл, «радость». В этой истории она – залетный ветер, порыв сквозняка на странице; она здесь только потому, что была частью моего образа жизни – желания спасать, и еще потому, что оказалась рядом в тот день, когда я предпринял попытку пройти по водам. Не в океане, на озере в Центральном Парке, под аркой моста Боу-бридж. Так себе попытка, знаю – едва ли сойдет за испытание веры, – но *было* холодно.

Наверное, говорить, что я *пытался* пройти по воде, значит вводить в заблуждение. Я не верил, что смогу; на самом деле, я был уверен, что *не* смогу. Побуждение возникло во мне внезапно. Я ничего не сказал Гейл. Я не прыгнул в воду, не нырнул; просто ступил за борт весельной лодки – и тут же пошел ко дну. Итак, законы физики действуют; они применимы ко мне. Это не могло не радовать. Я подплыл к опоре моста и стал ждать Гейл. Меня кололо, я прыгал с ноги на ногу, тряс руками, чтобы согреться. То было жизнеутверждающее падение.

* * *

Дорогой Хитрый Койот!

Твоя проблема – не в Дорожном Бегуне; твоя проблема не в том, что ты не умеешь ходить по воздуху. Твоя проблема в том, что ты не веришь. Ты слишком часто оставался валяться в пыли; тебя слишком часто взрывали, а куртка твоя обращалась в пепел; тебя слишком часто расплющивали грузовики; ты снова и снова терпел неудачу – и именно в это ты веришь.

Ты принял свою роль неудачника, антипода Дорожного Бегуна: он получает то, чего хочет, то, что у него уже есть, – свободу, скорость и пару зерен канареечного семени, рассыпанного тобой, коварной ловушки, которая, как ты знаешь в глубине души, ни за что не сработает. Исход всякий раз тебе известен еще до того, как он свершится; можно сказать, ты сам его создаешь. Ты всегда будешь оставаться в дураках; ты всегда будешь преследователем, всегда на один шаг позади; ты всегда будешь оставаться голодным.

Кто знает, может быть, это и хорошо – никогда не достигнуть своей цели, никогда не дотягиваться до финишной черты, никогда не поймать птицу, которую, как ты, должно быть, убежден, тебе не судьба поймать. Я абсолютно уверен, что ты не стал бы есть Дорожного Бегуна, даже поймай ты его, не стал бы даже вредить ему, не уронил бы ни единого перышка с его головы. Не думаю, что ты знал бы, что с ним делать, кроме как отпустить на свободу, притвориться, что ты его и вовсе не ловил, и вновь вернуться к преследованию – к тому единственному делу, которое ты научился делать.

Я включал телевизор каждое субботнее утро, надеясь – хотя уже успел пересмотреть каждую серию, – что ты, может быть, перестанешь преследовать Дорожного Бегуна и позволишь ему прийти к тебе, что ты начнешь вести себя так, будто уже поймал его, будто у тебя уже есть все, чего только можно пожелать, ты король пустыни, постучи по кактусу – и из него выскочит высокий бокал с водой, толстый бифштекс. Я продолжал надеяться, что в один прекрасный день ты просто не помотришь под ноги, чтобы увидеть под собой один воздух, грядущее падение. Или помотришь, но каким-то образом уверуешь, что можешь летать.

Субботнее утро создавало особое ощущение; было ощущением. Этим ощущением, когда я слышал грузовик, лязг крышек мусорных баков, падающих на мостовую, рев компактора, видел отца, притормозившего возле дома, выкуривавшего сигарету, ни разу не прикоснувшись к ней пальцами...

На борту мусоровоза были граффити – рисунок красной краской из баллончика, ангел, затягивающийся самокруткой. Большинство надписей было не читаемо, я разобрал лишь немногие: «Кьюриос Фит», «Атом Боунз», «Волшебник Из».

Мой отец махал мне рукой, стоя на подножке, и мужчины, с которыми он работал, говорили мне *привет, малыш*, и я подбегал к бордюру и наблюдал, как компактор уминает мусор – бутылки и коробки, пищевые отбросы и старые туфли, вазу, коврик, сломанный пылесос; раз – и всего этого больше нет.

Каждый день отец приносил мне что-нибудь из того, что находил в мусоре: голубую пуговицу, которая могла оторваться от свитера, маску пчеловода, белую клоунскую туфлю,

транзисторный приемник, резиновые мячики, пивные крышки, спичечные коробки. Все, что он приносил домой, я хранил в сундучке. Язычок от детского ботинка, ленту от фетровой шляпы, синюю кисточку от красной турецкой фески. Поздравительные открытки и прощальные письма. Волшебные палочки и наручники. Бумажную иконку с изображением Христа на кресте.

Однажды отец принес домой серебряные часы, которые нашел на дне мусорного ящика.

– Подарок тебе, – сказал он.

Я завел часы, но секундная стрелка не желала двигаться.

– Они сломаны, – пожаловался я.

– Что же, – проговорил он, – нам придется их починить.

Он положил часы на мою ладошку и велел мне осторожно сжать пальцы, будто я держу яйцо.

– Закрой глаза, – велел он, – и увидь, что часы идут. Увидь, как двигается секундная стрелка.

Я почувствовал, как его ладонь легла поверх моей. Он несколько раз постучал по моей руке, потом сказал:

– Двигайся. Давай же, двигайся!

Он заставил меня повторить это вместе с ним.

– Вели секундной стрелке двигаться, – вот как он сказал.

– Двигайся, – повторил я.

– Скажи это всерьез.

– Двигайся, – повторил я снова.

– Так, словно по-настоящему веришь.

– Двигайся!

– Вот, уже больше похоже, – заметил он.

– Двигайся, двигайся, двигайся, – повторял я, и каждый раз он хлопал меня по руке.

– Ладно, – сказал он. – А теперь давай посмотрим.

Я открыл глаза, потом ладонь. Секундная стрелка не просто двигалась, она еще и загнулась по направлению к стеклу.

– Иногда и так бывает, – прокомментировал отец.

Он сказал мне, что, наверное, маме лучше об этом не говорить, учитывая то, как она относится к таким вещам.

Отец приносил домой и другие мертвые часы, и мы вместе возвращали их к жизни, но те, первые, навсегда остались моими любимыми. Браслет был мне слишком широк, поэтому я носил их в кармане.

Игры, в которые мы играли – волшебство, как называла их мать, – стали своего рода религией, то есть приносили мне радость, окутанную тайной, которую я не мог бы вполне выразить словами. Если бы мне пришлось выбирать, кого разоблачить – Бога как плод мошенничества или своего отца как мошенника, – мне было бы проще справиться с развенчанием Бога. Если бы Бога уличили в том, что он выдумка человеческого воображения, не более чем прихоть фантазии, приспособительный механизм – тогда я, по крайней мере, оказался бы не единственным обманутым. Но вера в моего отца принадлежала мне одному, и мне одному пришлось бы справляться с разочарованием, окажись его способности всего лишь ловкими трюками.

На следующий день после Хэллоуина отец повел меня на кладбище. Мне было десять лет. Он хотел отвести меня на могилу Гудини накануне вечером, в полночь, но мать категорически запретила.

Теперь, после ливня, прошедшего поздним утром, с деревьев стекала дождевая вода, трава промочила насквозь мои кроссовки и носки отцовских коричневых рабочих ботинок.

Мы убирали увядшие цветы с надгробных камней и поправляли другие, еще живые, упавшие во время грозы. Прошли мимо одного надгробия, настолько древнего, что имя и дату на нем было невозможно прочитать; сам камень стал абсолютно черным. Отец коснулся его; я испугался, что он может заразиться смертью.

Ветер разбил витражное окно мавзолея. Мы остановились возле него, и отец заглянул внутрь. Я был высоким мальчиком, но недостаточно высоким, чтобы что-то увидеть, и он приподнял меня.

Внутри оказался каменный трон, ничего больше. ***Я представил себе, как кто-то сидит на этом троне, совершенно один, вечно надзирая над мертвыми.*** А потом я подумал: никто никогда не будет сидеть на этом троне. Имена мертвецов были выгравированы на табличках, вмурованных в стены.

Мы пошли дальше по глинистым лужам, пока не дошли до огромного памятника с лестницей в три ступеньки, ведущей к статуе плачущей женщины. Я вначале подумал, что это Мария, оплакивающая Христа, но потом увидел бюст: то был не Иисус, а мужчина в галстук-бабочке, с волосами, разделенными прямым пробором.

– Тебя называли в его честь, – сказал отец. – Но только не говори маме – она об этом не знает.

Мама хотела назвать меня Кэри, в честь Кэри Гранта. Но отец сказал, что другие дети будут смеяться надо мной из-за того, что у меня девчачье имя, и к тому же настоящее имя Кэри Гранта было Арчи. Мама возразила, что имя Арчи будет напоминать о персонаже комикса. Тогда отец предложил имя Гарри, но моя мать знала, что он имеет в виду Гудини, и тогда отец спросил, как насчет Эрика, и матери оно понравилось.

– Она до сих пор не знает, что так его звали по-настоящему, – объяснил он.

Мы уселись на ступеньках, и отец показал мне фокус. Он ни за что не назвал бы его фокусом; просто этим словом воспользовалось бы большинство людей.

Он велел мне опустошить свой разум, закрыть глаза и пристально взглянуться в темноту под веками. Потом он попросил задумать число между 1 и 10 и сосредоточиться на этом числе, визуализировать его, назвать ему это число мысленно, пожелать, чтобы он его узнал.

– Готов? – спросил он.

Я старался не думать ни о чем, кроме этого числа. Я снова и снова мысленно писал его на доске.

– Готов, – ответил я.

Он закрыл глаза, коснулся моей головы рукой, сделал несколько глубоких вдохов.

– Есть, – сказал он. – Семь.

– Как ты это сделал?

– Я ничего не делал – это сделал *ты*.

– Попробуй еще раз, – предложил я. – На этот раз пусть будет *любое* число.

– Легко, – отозвался он. – Просто делай то же самое. Увидь число. Захоти, чтобы я его увидел. По-настоящему сконцентрируйся.

Я плотно зажмурил глаза и увидел, как мигают в темноте красными и белыми огоньками три двойки.

А потом мой отец назвал это число.

Мне нравились числа, уравнения, задачи. Я верил – и черпал утешение в этой вере, – что каждая задача имеет решение, что у каждого вопроса есть ответ. Большую часть свободного времени я решал математические задачи, а потом проверял результаты в сборнике ответов. Мне приносило неизъяснимое удовлетворение то, что я могу поставить галочку рядом

с вопросами, на которые ответил верно, и увидеть, сколько задач и примеров я могу решить правильно подряд, и увидеть, насколько количество правильных ответов превосходит количество неправильных, и суметь понять, где именно я ошибся, в каком месте моя мысль свернула с пути, и запомнить свои ошибки, чтобы никогда больше их не повторять.

Когда у меня иссякли математические задачи – когда я покончил со всеми учебниками в доме, даже с теми, до которых мне оставался еще не один год учебы в школе, – я лишился покоя; мой разум, за неимением разрешимых вопросов, занялся созданием неразрешимых. Вопросы-«почему», как называла их моя мать. Почему хороший человек отправляется в ад, если он пропустил мессу и его сбил автобус по дороге на исповедь? Если Бог действительно является Богом, зачем ему понадобилось посылать своего единственного сына на землю, чтобы тот умер мучительной смертью только для того, чтобы избавить всех нас, остальных, от наших грехов? Почему не избрать более легкий путь? Она отвечала до какого-то момента – до того момента, пока еще могла отвечать, или пока не уставала от моих расспросов, – а потом нагружала меня домашней работой: сложи выстиранное белье, подмети дворик. Отец удовлетворял мое любопытство столько, сколько я хотел, но он редко давал ответы. Чаще всего он говорил: «Вот отличный вопрос!», или «Не знаю, что и сказать», или «А *ты-то* сам что думаешь?».

* * *

Если бы я давал годам имена – тогда, за двадцать лет до того, как ты положила начало этой традиции, – я бы, наверное, нарек тот год годом блэкаута, или годом Сына Сэма, или годом исчезновения вещей. Я мог наречь его годом слышания голосов. Я мог бы выбрать для него сколько угодно имен, не будь его имя при взгляде в прошлое столь болезненно очевидным.

Я мог бы наречь его годом, когда мне пришлось завести вторую, а потом и третью коробку, чтобы в них поместились все предметы, которые приносил мне отец. Маленькие подарки, безделицы, хлам, отвергнутый другими людьми.

Он приносил мне выброшенные почтовые открытки, которые я читал и перечитывал перед сном, пытаюсь представить себе жизни их авторов. Минимум раз в неделю он приносил мне открытку – из Сан-Диего, Сан-Франциско, Санта-Фе, из маленьких городков с самыми странными на свете названиями: Сюрприз, Северная Каролина; Как-Поживаете, Айова; Случайная Находка, Новый Южный Уэльс; Истина-или-Последствия, Нью-Мексико; Ад, Мичиган; Рай, Пенсильвания; Экстаз, Техас. Большинство текстов были жизнерадостными, перенасыщенными восклицательными знаками, но в некоторых, обычно к концу, мне удавалось различить намек на грусть; именно эти мне нравилось перечитывать чаще всего. Мужчина по имени Стивен рассказывал женщине по имени Ли о пьесе, которую он смотрел в Чикаго, под названием «Когда трое становятся двумя»; о том, как эта пьеса заставила его скучать по ней; о том, что он держит свое обещание; но в постскриптуме, написанном бисерным курсивом, говорилось об отчаянии, которое он испытал на смотровой площадке Сирс-тауэр, и не потому, что было ветрено и он ощущал, как раскачивается небоскреб, но потому, что небо было ясным, и через все озеро Мичиган он видел Индиану, где, он это знал, была она. Какое-то время эта открытка была моей любимицей. Я часто менял фаворитов – открытки, которые брал с собой в школу, вкладывая в свои учебники, и перечитывал в течение дня; на уроках я грезил наяву, гадая, как выглядела Ли и какое обещание дал ей Стивен.

Была еще некая Рита, которая писала из Ричмонда, что она подумывает о том, чтобы сдаться, что она пыталась снова и снова, но не получила ответа на свои молитвы. Был Джон из Остина, который провел лучший день в своей жизни с девушкой по имени Линда, с которой только что познакомился; и другой Джон, из Ванкувера, который потерял свой бумажник, был вынужден ночевать в парке и как раз собирался отправиться на попутках до Уолла-Уолла, вероятно, он не успеет на похороны, пожалуйста, извинись перед детьми. В моем воображении Рита не сдавалась, Джон женился на Линде, другой Джон добирался до Уолла-Уолла вовремя, успев на похороны, и все эти люди знали друг друга, они были знакомы со Стивеном и Ли, и каким-то образом все и вся были связаны, мы все были частью одной и той же истории, и я хотел, чтобы у нее был счастливый конец. Я воображал, что если буду брать с собой в школу «правильную» открытку, если буду достаточно часто ее перечитывать и мысленно посылать человеку свои наилучшие пожелания, и проигрывать в уме счастливую концовку для любой истории, которую я придумывал, то все будет хорошо.

Но на следующей неделе отец приносил мне новую открытку из Салема, или Сент-Пола, или из Батон-Руж, еще один листок, переполненный восклицательными знаками, но с намеком на печаль или сожаление, со вставкой или с постскриптумом, которые говорили, хотя всегда лишь косвенно: *помоги мне, люби меня, не покидай меня, вернись, не сдавайся, не позволяй мне сдаться, прости меня, я буду стараться, буду вести себя лучше, буду лучше...*

* * *

То был год слышания голосов.

Отец принес мне транзисторный приемник, который он нашел в хорошем состоянии, включая батарейки. По ночам в постели я шарил по средним волнам до тех пор, пока какой-нибудь голос не вынуждал меня остановиться; меня могла остановить какая-то фраза, или слово, или просто тон, или убежденность, звучавшая в нем.

«Окружающий тебя хаос создан с определенной целью».

«Ты – босс, ты здесь главный. Я провижу для тебя светлое будущее. Но ты, приятель, сам себе помеха. Откажись от негатива – вышвырни его вон».

«Мы не попадали бы в такое количество передраг, если бы чуть раньше просили Бога о помощи. Похоже на правду, не так ли?»

«Она подожгла гараж, потому что была уверена, что внутри прячется Сатана».

«Вам повезло, что пуля не попала в сердце».

«Божество защищает и ведет меня всегда. Давай вступим в этот Свет вместе».

Я засыпал, прижав приемник к уху. Порой по ночам я просыпался в страхе, что рядом со мной в комнате есть кто-то еще; я замирал в неподвижности, пытаясь определить, откуда идет голос – из шкафа, с чердака, из-под кровати.

«Один сын опустил его в могилу, – сказал мужской голос. – Другие хотят поднять его из могилы».

Я нащупал приемник под подушкой, поднес его к уху и стал ждать, но в нем было только безмолвие. Я решил, что сели батарейки, но когда попробовал другие станции, моя комната снова наполнилась голосами.

«Она – счастливая, удовлетворенная служительница Господа, – говорила женщина. – Без Него она не хочет быть».

* * *

В тот год отец учил меня, как заставить исчезать вещи, но получалось у меня так себе, и не только поначалу. Когда он заставлял что-то исчезнуть, я просил заставить эту вещь вновь появиться. Стекланные шарики, ручки, скрепки, крышки от бутылок – что бы я ни попросил.

Он сомкнул пальцы над спичечным коробком, дунул на кулак и показал мне пустую ладонь.

– Куда они делись?

– Туда же, откуда пришли, – ответил он.

– А откуда они пришли?

– Оттуда, откуда приходит всё.

– Но *откуда*?

– Ниоткуда, – говорил он.

– Как может что-то быть нигде?

Он пожал плечами.

– Отлично, – сказал я. – Заставь их вернуться.

Отец сжал кулак, дунул на него. Когда он разжал пальцы, спичечный коробок лежала на ладони, словно нигде не исчезала. Я раскрыл ее и сосчитал спички; их стало восемь, а ведь было девять.

– Одной спички не хватает, – заявил я.

– Думаю, она просто не захотела возвращаться.

– Почему?

– Может быть, ее сожгли, – предположил он.

– Не смешно, – надулся я.

Он чиркнул спичкой, чтобы раскурить сигарету. Где было восемь, стало семь.

– А ты можешь заставить исчезнуть вещи побольше?

– Например, какие?

– Людей.

– Кого именно?

– Сына Сэма.

Он выдохнул дым через нос.

– Могу над этим поработать, погляжу, что можно сделать.

Он был тем человеком из моих снов, который уносил меня прочь, который уносил прочь мою мать и отца; он был едва слышным голосом в статических помехах между радиостанциями; он был скрипом чердачной лестницы; он был ветром, грохотавшим окном моей спальни; он был тенью в подвале, когда мать посылала меня складывать выстиранное белье; он был мертвыми листьями, шуршавшими на заднем дворе; он был вороном, каркавшим на бельевого веревке; он был тем человеком, который однажды ночью трижды прошел мимо нашего дома, а потом рылся в нашем мусоре; он был тем человеком, который сидел в черной машине через улицу напротив кладбища, когда я прошел мимо в рассветных сумерках, разнося свежий номер «News»; он был заголовком на первой странице, который я обещал себе не читать, но снова и снова перечитывал; он был человеком в моем шкафу; он был человеком, который сидел в одиночестве в заднем ряду в церкви и смотрел на меня, не отводя глаз; он был человеком, который разговаривал сам с собой, кормя голубей в парке возле школы; он был шагами, раздававшимися в школьном туалете, когда я сидел в кабинке на перемене; он был безмолвием и любым звуком, нарушавшим это безмолвие; он был тем, из-за кого муж моей школьной учительницы каждый день приезжал в школу, чтобы забрать ее; он был тем, из-за кого женщины коротко стригли волосы и вытравливали их до белизны; он был тем, из-за кого моя мать каждый вечер придвигала свое трюмо к двери спальни; он был тем, из-за кого мне снились кошмары, в которых моего отца вталкивали в мусорный компактор; он был тем, из-за кого я сидел у окна, поджидая возвращения отца с работы; он был тем, из-за кого я то и дело донимал отца, то и дело спрашивал его, сможет ли он заставить исчезнуть человека.

* * *

Однажды жарким июльским вечером, собираясь ложиться спать, я спросил отца, смог бы он заставить исчезнуть весь мир.

– С чего бы это тебе захотелось так сделать?

– Просто спрашиваю.

Он загасил сигарету в пепельнице, грозившей вот-вот переполниться.

– Думаю, да, – сказал он, – если серьезно взяться за дело.

А потом мир *в самом деле* исчез.

Исчез мой отец; исчез диван, на котором он сидел; исчез кофейный столик, на который он взгромоздил ноги; исчезла вся комната. Я не смог разглядеть собственные ладони, когда помахал ими перед лицом; я ничего не видел. Мать закричала из подвала, где складывала выстиранное белье.

– Глен, – позвала она, – я здесь, внизу, в темноте!

– Все мы в темноте, – отозвался отец.

Какое это было облегчение – слышать их голоса, ощущать пол под ногами. Я по-прежнему был здесь; мои мать и отец по-прежнему были здесь; мир по-прежнему был здесь, пусть даже я не мог его видеть.

Отец открыл входную дверь – и там была сплошная тьма. Светофоры и фонари погасли. Повсюду двигались маленькие кружки света: наши соседи на своих крылечках с фонариками в руках.

Я ошупью взобрался по лестнице и принес вниз свой радиоприемник: так мы и узнали, что действительно случился блэкаут. Позже, когда до нас дошло, что мы не можем сделать ничего такого, чтобы превратить тьму в свет, кто-то вынес из дома кассетный магнитофон, а кто-то другой – карточный столик и миску чипсов, а третий – переносной ледник, заполненный пивом, и всё превратилось в квартальную вечеринку. Отцу удалось уговорить мать выйти из дома и потанцевать с ним. Я узнавал людей по голосам, по запаху их сигарет или духов. Можно было оставаться невидимым, если ничего не говорить, если не попадаться под лучи фонариков. ***Тьма, пока мы были в ней все вместе, казалась безопасной.***

Используй коробку, в которой принесли тебе новые кроссовки, ту самую, что последние несколько недель валялась, пустая, в твоём шкафу. Черным «волшебным фломастером» напиши на крышке «ШКАТУЛКА ЖЕЛАНИЙ». Перечеркни слово «желаний» и напиши «ТВОРЕНИЯ», потому что ты творишь вещи, а не просишь о них. Перебери старые газеты и вырежи составленный полицией фоторобот его лица. Наклей его на лист плотного картона, а поверх фоторобота напиши черным «волшебным фломастером» – ПОЙМАН! Сосредоточься на газетном заголовке, который ты создал; знай, что так и будет. Не сомневайся – даже неделей позже, когда еще двоим прострелят головы, пока они будут целоваться в машине в Бруклине, женщина убита, мужчина ослеп. Имя жертвы-мужчины – Виоланте, по-английски оно выглядит и звучит как *Вайолент*, и ты гадаешь, как может отразиться на человеке необходимость часто произносить такое имя, необходимость писать его, необходимость подписывать им экзаменационные листы и документы, ведь *вайолент* – это неистовство, ярость, насилие. Ты веришь, хоть ты еще и мальчишка, что имена имеют значение, обладают силой, и пытаешься представить, насколько иначе могла бы повернуться вся его жизнь, если бы он носил имя Вайолет – фиалка, если бы он не припарковал свою машину в районе, который называется Грейвсенд – могильный тупик. Перед тем как он вышел из дома тем вечером, мать сказала ему: «Будь осторожен, ты ведь знаешь, что кругом творится». А позже, когда он гулял со своей подружкой, качался на парковых качелях, она вдруг занервничала, и ей захотелось забраться обратно в машину. Это еще одно свидетельство в пользу того, что лучше всего – не бояться. Животные, даже в человеческом обличье, способны учуять страх. Сопротивляйся побуждению открыть «шкатулку творения», чтобы убедиться, что Сын Сэма по-прежнему внутри. Если заглянешь – распишешься в своей неверии. Если же докажешь свою веру, она будет вознаграждена двумя неделями позже, когда твой отец покажет тебе заголовок на первой странице: ПОЙМАН! Вот теперь можешь открыть свою «шкатулку творения» и показать отцу. Он не удивится; он похлопает тебя по спине и скажет: «Отличная работа – ты его поймал!»

Спустя три месяца наступил Хэллоуин, и мне хотелось быть Человеком-невидимкой. Я хотел, чтобы было так, как во время блэкаута, только лучше: другие не могли бы меня видеть, но я бы их видел – их скрытые «я», их таких, какими они бывают, когда думают, что никто не смотрит.

Я хотел, чтобы отец заставил меня исчезнуть, хотя и побаивался быть нигде – где бы оно ни было, это место, из которого все приходит. В то утро, пока отец брился (он курил даже во время бритья), я спросил, смогу ли я заставить исчезнуть *его*, и он ответил: «Конечно, но только если ты будешь верить, что сможешь», и я спросил его, боится ли он

быть нигде, и он ответил, нет, не боюсь, а я спросил, вернется ли он, и он сказал: «Если ты меня вернешь», и я спросил: «Как же я тебя верну?», и он ответил: «Так же, как заставишь меня исчезнуть», и я тогда спросил: «А когда ты вернешься, ты расскажешь мне о нигде?» Он переместил сигарету в другой уголок рта, чтобы можно было побрить небритую часть лица и не обжечь руку.

– Я расскажу тебе все, – ответил он. – Если только при возвращении у меня не будет амнезии.

В качестве маскарадного костюма я надел тренч и мягкую фетровую шляпу и попросил отца обернуть мое лицо и руки бинтами. Идея состояла в том, что я сниму одежду, размотаю бинты – и меня не будет. Или, точнее, *я буду*, но так, чтобы все были уверены, что меня нет.

Прежде чем отправиться в школу, я вынул фотографию из альбома, лежавшего в шкафу матери: я и мои родители, когда мне было пять лет, мой первый школьный день. Я отрезал изображение отца, сложил то, что осталось, и сунул в карман.

В течение всего дня я держал эту фотографию на своей парте. Я воображал пустым его кресло рядом с входной дверью; я воображал утро без него, наклоняющегося над раковиной, чтобы побриться; я воображал свою мать в постели одну; я воображал, как мусоровоз едет по нашей улице, а на его подножке стоит человек-который-не-мой-отец, как человек-который-не-мой-отец опорожняет мусорные баки и свистом подает знак водителю двигаться дальше; я воображал отцовскую пепельницу пустой на кофейном столике.

Мои одноклассники упорно утверждали, что я – Мумия, сколько я ни говорил им, что я – Человек-невидимка.

– Но мы же тебя *видим*, – говорили они.

Близняшки Тара и Тина пришли, переодевшись друг в друга, но ни один из нас все равно не мог понять, кто из них кто.

Однорукий мальчик – он таким родился – изображал человека, выжившего после нападения акулы из фильма «Челюсти».

На дорогу домой мне потребовалось в два раза больше времени, чем обычно; я снова и снова сворачивал, шел окольными путями, чтобы не сталкиваться с ребятами, вооруженными кремом для бритья, который вполне мог оказаться депилятором, но меня все равно измазали, поскольку мое пальто-тренч было слишком заметной мишенью.

Мне предстояло встретиться с тобой только через двадцать лет, и со временем я рассказал тебе большую часть этих историй, но пришла пора и для той, которую я никогда не рассказывал ни тебе, ни кому-либо другому, даже своим слушателям или читателям. Знала ее только моя мать, и я не уверен, что она простила меня. Порой, даже сейчас, мне приходится напоминать себе, что это была не моя вина, что я был ни при чем. Я пытаюсь убедить себя в том же и тогда, когда думаю о тебе, обо всем.

Мы стояли в моей комнате, прислушиваясь. Отец кашлял не переставая – так сильно, что ему пришлось вынуть изо рта сигарету, не докурив ее, а я ни разу не видел, чтобы он так делал. Я сказал ему, чтобы он замолчал.

Мать была на крыльце, держала на коленях жестянку из-под кофе, наполненную грошовыми монетками.

Я придавал слишком большое значение тому, что думали обо мне другие дети, чтобы ходить от дома к дому с мешком для сладостей. *Да я и конфеты-то не любил; мать давным-давно убила эту простую радость, разрезая шоколадные батончики на мелкие кусочки – на случай, если там окажутся бритвенные лезвия.* Отец, чтобы подразнить ее, старался съесть шоколадку до того, как она ее раскромсает. «Смотри, пожалеешь еще, когда у тебя язык отвалится», – говорила она.

Матери нравилось трясти жестянкой в попытке завлечь ребятишек, она не сознавала, что им меньше всего нужны ее медяки, что они станут над ней смеяться, станут называть ее грошовницей.

Тишина была бы для нас сигналом того, что она идет домой, что у нее кончились медяки, или что маленькие вымогатели разошлись.

Ей не понравилось бы то, чем мы занимались. Она сказала бы: «Что я говорила тебе о волшебстве, о том, что не нужно забивать голову сына дурацкими идеями?» Она сказала бы: «Ты еще пожалеешь».

Было трудно сосредоточиться, одновременно прислушиваясь к дребезжанию медяков. Если минута проходила в тишине, мы делали паузу, ждали, пока она снова начнет трясти банкой.

Я велел отцу забраться в шкаф.

– Так, значит, вот откуда мне придется исчезать.

– Да.

– Главное, чтобы там, куда попаду, я смог дышать, – отец снова закашлялся, и я даже засомневался, что он когда-нибудь перестанет кашлять. – Похоже, я и впрямь какую-то заразу подхватил, – проговорил он.

– Постарайся молчать, – попросил я.

Он шагнул в шкаф и прислонился спиной к моим школьным рубашкам. Перед тем как я взялся за дверцу, он сказал:

– Счастливо. Скоро увидимся.

– Пока, – отозвался я.

Я прикрыл дверцу, сел на кровать, плотно зажмурил глаза и представил себе шкаф без моего отца.

А потом вдруг звук: тоненький, будто ущипнули девчонку. Резкий сильный вдох.

Я рассердился за то, что он нарушил мою сосредоточенность.

– Эй там, потише, – предупредил я.

Он издал такой же звук, как по утрам, когда отхаркивался, потом стукнул в дверцу кулаком – или мне показалось, что стукнул, – словно просил, чтобы его выпустили.

Придется все начинать сначала. Не могу же я по-настоящему представить, что он исчез, когда он так шумит.

Когда я открыл дверцу, он выпал наружу.

Глаза отца были открыты, но он не смотрел на меня. Розыгрыш, подумал я. Хэллоуинский трюк. Чтобы напугать меня, чтобы напугать мать.

Я услышал, как открылась входная дверь, потом закрылась; материнские шаги.

– Она сейчас придет, – прошептал я ему. – Вставай – быстро!

Мать поднялась по лестнице; я слышал, как она идет по коридору к моей комнате.

– Ну, *вставай* же, – повторил я.

– Чем это вы двое тут занимаетесь?

Я похлопывал его по ушам, дергал за волосы, щипал кожу на его ладони.

Я встал и легонько толкнул его ногой.

– Ну, *давай же*, – проговорил я.

Мать попыталась открыть дверь, но он перегородил ее своим телом.

– Да впустите же меня, – воскликнула она и поднажала на дверь.

Я налег с обратной стороны, но в ее голосе уже прорезался гнев, и я «сдал» отца.

– Он меня дразнит, – пожаловался я.

Мать с усилием пробила дверь.

Я ожидал, что она скажет: «Вот, теперь ты знаешь, каково это, когда тебя дразнят». Или: «Глен, пожалуйста, когда ты уже, наконец, повзрослеешь!»

Но едва увидев его, она упала на колени рядом и начала его трясти.

– Глен, – повторила она, – Глен, – и снова встряхнула его, теперь сильнее. – Все нормально, все хорошо, – бормотала она. – Ты теперь можешь встать, ты можешь встать.

А потом, обернувшись ко мне:

– Что случилось?

Она не ждала ответа. Она трясла его *слишком* сильно. Она стала бить его по лицу, по груди, навалилась на него сверху, заглядывала в глаза. ***Она все трясла и трясла его, и повторяла его имя – Глен, пока это Глен не стало звучать странно, слово, которое я слышал впервые, слово из другого языка.***

– Он дразнится, – повторил я.

Она сбегала вниз по лестнице, потом вернулась обратно. Снова упала на колени подле него, приложила губы к его уху.

– Я тебя не оставлю, – повторяла она. – Я тебя не оставлю, не волнуйся.

Но, едва успев выговорить это, она снова сбегала вниз по ступеням.

Я слышал, как она кричит на улице, зовет на помощь. Одна из наших соседок была медсестрой; как-то раз она спасла другого соседа, подавившегося среди ночи вишневой косточкой.

А я все смотрел. Не в глаза – я не мог смотреть ему в глаза – чуть поверх них, достаточно близко, чтобы видеть, не шевельнется ли он.

Сосед, чьего имени я не знаю, – пожилой мужчина, который ездил на коричневом «Кадиллаке» и каждый вечер курил на своем крыльце сигару, – взбежал вверх по лестнице вместе с матерью. Пришли и другие люди – незнакомцы, отцы тех детей, которых я знал, но дружбы с ними не водил. Человек, пропахший сигарами, опустился на пол рядом с моим отцом и снова повторял имя *Глен* – звук, который перестал быть словом. Он хлопал отца по лицу; он прижал палец к шее отца, приложил ухо к его груди...

* * *

Мать не хотела уходить. Я стоял перед автоматом с газировкой, вертя в руке два четвертака, которые дала мне медсестра. Перед собой я видел отражения матери и врача. Он смотрел на нее сверху вниз, мусоля подбородок. Она кричала на него, но шепотом. Они сделали недостаточно, говорила она. Он слишком молод, чтобы это с ним случилось.

Я видел, как медсестра подала матери таблетку и маленький бумажный стаканчик; в такие наливают воду для полоскания после того, как поставят пломбу. Мать оттолкнула их. Она хотела поговорить с тем, кто здесь главный. Сестра положила руку на плечо матери.

Перестав плакать, мать приняла у нее таблетку и стаканчик, потом села.

Автомат проглатывал одну монетку, потом другую. Я нажимал кнопку, которая возвращала их обратно, и продолжал так делать, хотя давным-давно решил, что хочу апельсиновый напиток. Я не хотел поворачиваться; я мог смотреть на отражение матери, но не на нее. Снова зарядил монетки в автомат и нажал кнопку с апельсиновым напитком. Банка, проделывавшая свой путь через внутренности автомата в окошко выдачи, грохотала так же громко, как мое сердце – так мне казалось. Я отогнул крышечку и сделал первый глоток; все звуки были слишком громкими. Я пил слишком быстро, и вот уже половины банки нет. Когда она совсем опустеет, мне придется повернуться к ней, мне придется сказать что-то или не сказать ничего, и тогда она, наверное, скажет *это* – что это я во всем виноват, что сколько раз она мне говорила, что это Бог наказывает меня за то, что я не делаю то, что мне было велено, за то, что я делаю то, что мне было велено не делать, что это мой крест и ее тоже, что это навсегда, непоправимо, понимаю ли я, что означает это слово, а оно означает до конца нашей жизни.

Путь на такси домой, мы вдвоем, без него. Мать рядом со мной, на заднем сиденье.

Двое парней кидались в проезжающие такси яйцами. Один парень был без рубахи, видны были крохотные соски; на другом была красная бандана, такая, какую я просил в подарок на прошлое Рождество, потому что выглядела она так, будто под ней рана, а я думал, что это ужасно романтично – когда у тебя рана, люди станут считать тебя трагическим и мужественным, но вместо банданы мать купила мне твидовую кепку с рисунком «в елочку», над которой другие дети смеялись.

Яйца разбились об окошко с моей стороны, но я даже не поморщился. Улицы были темны, но тыквенные фонари по-прежнему горели в окнах и на верандах. Потом пошли улицы, которые я узнавал, улицы, близкие к нашей, знакомые дома. Наш дом. Коричневая машина, на которой ездит отец, *ездил*, которую не умела водить мать, которой предстояло пять лет простоять перед нашим домом; я заводил ее раз в неделю, зимой – дважды в неделю, пока не повзрослел достаточно, чтобы начать водить.

В ветвях нашего дерева застряла волшебная палочка. Ветер гонял конфетные обертки вдоль подъездной дорожки. На мостовой валялись блестящая туфелька принцессы и треснувшая маска вампира. На нашей входной двери кремом для бритья была выведена улыбающаяся рожица, а под ней слова: *Я ВЕРНУСЬ*.

Темный дом, щелчок включающейся лампы. Шкаф открыт, пальто матери на плечиках, запах нафталиновых шариков. Ее шаги, потом мои, вверх по скрипучим ступеням. Мать в своей комнате, которая прежде была их комнатой, а я – в своей, где все это случилось.

Даже в темноте я видел очертания дверцы шкафа. Я встал с кровати, включил свет и положил ладонь на дверную ручку.

Все это хитрый трюк, блестящая иллюзия – вдруг дошло до меня. Да, отец был настолько хорош. Он был лучше всех, даже лучше Гудини. Трюк, чтобы остановить сердце. Трюк настолько ловкий, что он обманул мужчин, которые пришли к нам в дом, и дули ему в

рот, и давили ему на грудь, и надели ему на лицо маску, и нажимали на пластиковый пузырь, который вдувал воздух в его тело; настолько ловкий, что он обвел вокруг пальца врачей и медсестер в больнице. Я воображал, как он смеется, вставая с того самого операционного стола, на котором они, должно быть, объявили его мертвым. Я воображал, как он на цыпочках идет по коридору, вниз по лестнице, а потом на улицу, в такси. Он вполне мог добраться до дома раньше нас. Он исчез, и теперь, если я сфокусирую свои мысли, он появится вновь.

Я стоял, держась рукой за дверную ручку, прислушиваясь к его дыханию.

Он мог бы дожидаться утра, думал я.

Он мог бы дожидаться бдения или похорон – стук изнутри гроба, когда его опускают в могилу.

Он мог выжидать годами.

А пока он был бы голосом в статических помехах между радиостанциями; скрипом чердачной лестницы; дождем, бьющим в окно моей спальни; ветром, гонящим листья через задний двор; голубой сойкой на нашей бельевой веревке; шагами, тенями, безмолвием; любым звуком, который нарушит безмолвие.

* * *

То был год правил.

Таким же был и следующий год, и год после следующего. С каждым годом прибывало все больше и больше правил, усовершенствований прежних правил.

Нельзя было нарушать правило, а не то...

Первое правило, самое важное, было *Мысли позитивно*.

Каждая мысль была позитивной, негативной или нейтральной, и следовало быть осторожным.

При известной тренировке негативная могла стать нейтральной, а нейтральная – позитивной, а при еще большей тренировке негативная могла миновать фазу нейтральной и стать позитивной.

Негативная «на улице холодно, идет снег, и кто-нибудь швырнет ледышку мне в лицо» становилась нейтральной «на улице холодно, идет снег», становилась позитивной «благодарю за утренний солнечный свет, отражающийся в побелевшем мире», становилась мантрой, которую можно было повторять весь день, становилась песней «спасибо за солнечный свет, спасибо за белый мир», и так весь день, чтобы отстранять негатив.

От негатива у меня зудели губы, слабели руки и ноги, возникал страх падения.

Так я узнавал, что мне необходимо изменить мои мысли, а не то...

Вот как я впервые ощутил зуд в губах: Рокэуэй-бич, августовское утро, мой десятый день рождения. Мерный шум накатывающих волн, свисток спасателя, крики чаек, пикирующих вниз, чтобы подобрать хлебные корки, крошки, липнущие к оберткам кексов. Выдержанный аромат водорослей. Морской бриз засыпал песчинками мои ноги. Волны, все громче и ближе, обдавали лицо соленой росой.

Я открыл глаза: самолеты воздушной рекламы писали в небе слова, которые истаявали раньше, чем я успевал их прочесть. Толстый мальчишка пробежал мимо с медузой, насаженной на палку.

Мать прикрыла свои бледные ноги полотенцем. Но полотенца не хватило на ступни, и они начали обгорать.

Однажды она ужасно обгорела, пролежала в постели три дня. Слыша, как она стонет, я боялся, что она может умереть. Отец придумал игру: мы снимали с нее облупившуюся кожицу – кому удалось снять самый большой кусок, тот и выиграл.

Теперь отец дремал, прикрыв шляпой глаза. Мать предложила отодвинуть наши шезлонги от воды; отец велел ей перестать суетиться. Мать сказала: «Смотри, какие сильные волны, и все ближе»; и я ощутил зуд в губах, как будто пытался съесть ту медузу. Мать передвинула свой шезлонг и велела мне сделать так же. Отец не шевельнулся. Он ничего не сказал – ни когда вода достигла его ступней, ни когда она поднялась до лодыжек, ни даже когда волна сбросила его с шезлонга. Он лежал спиной на песке, и вода перекачивалась через его голову, а потом обратно, а потом снова через него, и я хотел заговорить, но язык меня не слушался, а вода все перекачивалась взад и вперед, и отец вполне мог бы быть утопленником, выброшенным на берег.

Можно было сделать негативное воспоминание позитивным, пересмотрев его: все мы отодвинули свои шезлонги; вода так и не добралась до моего отца.

* * *

Спасибо за солнечное утро. Спасибо за шорох, который издают опавшие листья, когда я иду по ним. Спасибо за облачко пара, вылетающее из моего рта в холодном утреннем воздухе. Спасибо за длинные ресницы девушки, сидящей напротив меня в автобусе, такие длинные, что они кажутся накладными. Спасибо за мгновение, когда она моргает.

Девушка дернула за шнурок звонка водителю и поднялась с места: вторая половина ее лица была розовой от ожоговых шрамов; ресницы остались только на одном глазу.

Многие годы спустя, в Атланте, женщина с ожогами на лице попросила меня подписать ей экземпляр моей третьей книги, «Случайностей не бывает». Пожар лишил ее дома. В течение следующего года она потеряла работу, а ее брак распался.

Я не давала воли правильным мыслям, во мне не было ничего, кроме негатива, гнева и жалости к себе, а ваша книга вернула меня на путь истинный. Я снова прекрасно себя чувствую, правда-правда. Спасибо вам, спасибо вам за все.

Я подписал ей книгу: *Шэрон, с наилучшими пожеланиями и восхищением.*

Я писал в своем блокноте о девушке в автобусе. Я описывал ее ресницы и старался думать о них время от времени, особенно тогда, когда старался превратить негативное в позитивное.

Но было невозможно думать о ее ресницах, не думая об ожогах, нельзя было представить себе одну половину ее лица без другой, и в конце концов я выдрал этот лист из своего блокнота и решил, что лучше всего будет вообще о ней не думать.

Я спал, засунув блокнот под подушку. Я носил его с собой в школу. Я прятал его в своем шкафу, вместе с отцовской пепельницей и его последней пачкой сигарет.

В блокноте было четыре раздела: Правила, Знаки, Доказательства и Позитивные Мысли.

Я не хотел, чтобы его нашла мать.

Клееный, не на пружине, которая могла бы со временем раскрутиться и порезать палец. Карандаш, а не ручка, на случай, если я сделаю ошибку.

Я сильно налегал на грифель, и порой не удавалось стереть ошибку полностью; иногда ластик был грязным и портил все еще больше, и мне приходилось покупать новый блокнот и переписывать в него все записи из старого.

Ветреным ноябрьским утром через неделю после того, как минул год, моя мать повязала желтую ленту вокруг дерева перед нашим домом. Многие из наших соседей сделали то же самое – десятки желтых лент, их длинные концы хлопали по ветру. Я знал, почему – я видел заголовки в газетах, которые разносил, – но мне нравилось делать вид, что эти ленты повешены для моего отца, чтобы он вернулся⁵.

Я дошел до автобусной остановки, и все было желтее желтого, и я думал, как здорово было бы оказаться похищенным и взятым в заложники, чтобы тебя какое-то время удерживали где-то, чтобы боялись, что ты умер, чтобы такое множество людей скучали по тебе, а потом вернуться. Это было бы самое близкое к тому, чтобы восстать из мертвых. Это было бы как умереть, не умирая.

Через 444 дня, 222 раза по 2, заложники вернулись домой.

⁵ Захват американских заложников в Иране (4 ноября 1979—20 января 1981) – дипломатический кризис, начавшийся с захвата местными студентами посольства в Тегеране. Они взяли в заложники 52 работника американского посольства, которых освободили через 444 дня в 1981 г.

Один за другим они спускались по трапу самолета, махая руками. У некоторых мужчин были бороды, и я решил тогда – я еще учился в школе, – что когда смогу, непременно отращу бороду. Борода означала, что тебя долго не было; борода означала, что тебе не позволяли бриться; борода – и Иисус тоже был доказательством этого – означала, что ты страдал.

Один за другим они выходили из самолета, но ни один из них не был *им*.

* * *

Еще одно правило было такое: не наступай на трещины в асфальте, когда разносишь газеты, не позволяй продуктовой тележке переезжать через трещины, потому что «электричество считается».

Мне приходилось нажимать на ручку тележки всякий раз, чтобы приподнять передние колеса над трещиной, затем приподнимать ручку вместе с задними колесами, чтобы они миновали трещину, а потом переступить через нее самому. Если я задевал трещину, я должен был вернуться – миновать трещину в обратную сторону, – а потом попытаться снова.

Да, продвижение было медленным, но время, сэкономленное на том, что не нужно было возвращаться и все переделывать, стоило того времени, которое было потрачено, чтобы не допустить изначальной ошибки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.